АНАТОЛИЙ ДАРОВ

БЕРЕГ „НЕТ ЧЕЛОВЕКА"

(АФОН СОВРЕМЕННЫЙ И ВЕЧНЫЙ)

Нью Йорк

1966

АНАТОЛИЙ ДАРОВ

БЕРЕГ "НЕТ ЧЕЛОВЕКА"

(АФОН СОВРЕМЕННЫЙ И ВЕЧНЫЙ)

Нью Йорк

1966

ПРЕДИСЛОВИЕ

Почему эта книга носит такое необычное, и даже странное название — "Берег нет человека" ?

Совсем недавно, в 1963 году, автор этой книги, А. А. Даров, побывал на Афоне. Он взошел на эту Святую Гору, на "высочайшую в мире вершину духа".

Он увидел оскудение, разорение, заброшенность этого святого места.

"Проплываем мимо ветхого причала, — рассказывает он. Немного дальше видны пустынное подворье, большой дом с пустыми окнами и русская церковь на горе..."

— Обитель Всех Святых. Нет человека!" — говорит спутник А. А. Дарова, старый монах.

— Нет человека! — повторяет он и слова эти "горестным эхо замирают в моей душе."

И, в самом деле, "Нет человека!"

Нет его не только на Афоне, который злой и мелочной политикой современной Греции доведен почти до полного вымирания, но нет его и во всем мире, ибо, если бы он был, то не лежал бы в развалинах "русский, а с ним и греческий, Афон — первый и последний на земле оплот православия, строгих обрядов и абсолютной и поэтической религиозной чистоты."

"Нет человека" — во всем мире, ибо, если бы он был, современные люди не заботились бы столько об Африке и Азии, не занимались бы "бесконечными разговорами о борьбе с нищетой, о соединении церквей, о разъединении России, о сохранении тех или иных исторических памятников, "а обратились бы умом и сердцем к тому святому месту, которое есть "земной жребий Божьей Матери".

Увы! — этого нет, забыли люди об Афоне!

Об этом-то, с глубокой печалью, и говорит в своей книге А. А. Даров. Он нашел верные слова, нашел верные образы и краски для того, чтобы передать людям всю тонкую и высоко поэтическую сущность Афона, все тонкое очарование его.

Вот он пишет: "Нагорный Русик открылся передо мной не так неожиданно, как Свято-Ильинский град Китеж, и на плато, покрытом виноградником, но, кажется, я нигде в мире не видел церкви заброшенней и пустынней. Церкви!.. Высочайший храм, возведенный в небо с искусством и любовью — на века, стоит один среди альпийских долин и холмов, в разоренном подворье.

Ни души. Только где-то, сквозь тишину и запустенье, журчит вода. У ворот из гранитно-гробничной глыбы выбегает ручеек-старатель, намывает молчание-золото."

В такое тонкое, душевное повествование, А. А. Даров мастерски вплетает и историю, и воспоминания, и думы, и описания красочного, особого афонского быта, и образы тех необыкновенных последних русских монахов, этих крепких духом старцев, которые без ропота, спокойно отдались воле Божией.

Все это, в своей совокупности, создает необыкновенно живую, правдивую и художественную картину современного Афона, во всем его неповторимом своеобразии.

Многое найдет в этой книге внимательный читатель:

Найдет он в ней, в первую очередь, то дыхание русского благочестия и приверженности к своему православию, которые некогда создали русский Афон и которые — будем верить! — возродят в оный день его былую славу и его былое величие.

Г. Месняев

Когда-то, мальчишкой, я плыл с моим старшим братом Василием из Анапы в Поти. Наш пароход остановился на рейде Нового Афона, и все пассажиры вдруг заговорили о каком-то монастыре, и еще о гигантском дереве, единственном в мире, поэтому к нему приставлен часовой. К монастырю, конечно, тоже приставлен целый взвод.

— Потому, там полным-полно всяких религвий, — сказал близлежащий на узлах старичок и перекрестился.

Рыхлый туман распластался над морем длинной и толстой губкой, прикрывая только что утихомирившееся водяное безобразие. Прошлой ночью нашей "Советской Грузии" досталось, как доставалось в те времена, так или иначе, всем республикам, пароходам и человекам.

Весь пароход крестился, казалось, мачты — тоже.

— Господи, помилуй, никаких там часовых нет, а есть санатория.

— Во-во, сатанория там, помилуй, Оспыди!

— А бывалча, в той кипарисовой аллее монахи гуляли и молились себе на здоровье.

— И озеро там было-лиман, и черные лебеди, как монахи.

— А главное, для нашего брата — трапезная на тыщу человек!

— Да уж, Господи, трапезная была — красота. Никому отказу не было. Всех пущали, кормили и поили.

— А вопче-то, Оспыди, красота-то какая — гляньте!..

Я увидел сначала его отражение в воде. Гигантская губка в небе стерла остатки вчерашней бури и сама словно стерлась, туман косяком поднялся в горы, тоже еще туманные, и опрокинутые в небесно- морской лазури монастырские корпуса, изгибаясь на волнах, плыли нам навстречу,

как сомкнутая стая лебедей.

Много с тех пор утекло штормовой воды, вся жизнь перевернулась вверх дном, но это отражение — так и осталось в моей душе неперевернутым, — пока я не увидел настоящий и единственный на земном шаре, Афон, тогда оно — уже преображенное — стало на место, а вместе с ним, может быть, и моя душа...

⁂

Кажется, больше нигде в мире, даже на Караибских островах, по ошибке Колумба упорно называемых Вест-Индскими, я не видел такой пышной растительности, как на этом благословенном берегу самого яркого воспоминания моего детства: пальмы, каштаны, заросли бамбука, и от запаха магнолий кружилась голова: Адлер, Новый Афон, Гагры, Сухум, Поти, Батум... По сравнению с Кавказским побережьем французский Голубой берег, где я прожигал на солнце свою молодость, кажется жалкой полоской.

— А где же старый Афон? — спрашивал я брата, и он, по опыту долгой дороги с севера на юг страны, зная, что от меня не отвяжешься, быстро ответил, что — в Греции, и не "Старый", а настоящий, и даже махнул рукой на юго-запад, а греков я должен знать, их у нас немало. И рассказал заодно про аргонавтов, потому что они тоже плавали в Колхидстрой, куда мы теперь стремимся. Я должен быть заранее готовым к тому, что болота там заливают асфальтом, но лягушки все равно квакают из-под новых мостовых, выковыривать их — безнадежное занятие. А в монастыре устроили театр, он красуется на этикетках пивных бутылок, как новое достижение довольно трудной, мягко выражаясь, власти.

— Значит, греки побывали там раньше нас, русских?

— А что с того? — Брат отвернулся от меня. Он не был разговорчивым.

В то время я еще не знал, что в физической истории,

как иногда в спорте, выигрывают не первые, а последние, а в общей истории, вообще, смеется тот, кто смеется последний. Нередко он же и плачет гоголевскими слезами. А то, что когда-то Дарий ходил на Грецию, потом его сынок, Ксеркс, за ним Артаксеркс (Долгорукий), потом реваншист Македонский прошел насквозь Персию, Индию и Китай; потом турки приходили — точно, ни на шаг дальше — туда, где побывали греки на Кавказе и в Крыму, и самих греков закабалили на 460 лет, — все эти грабительско-познавательные движения народов для истории лишь муравьиные дорожки, не больше. Весь мир словно переливался из пустого в порожнее, как безвольная аморфная масса.

В моих долгих послевоенных скитаниях по Европе я ни разу не был в Греции, ничего не читал об Афоне и даже в Париже как-то не попал на афонские лекции Ф. И. Бокача, ныне священника, а когда-то вместе работали, вернее, подрабатывали, в русском ресторане на пляс Пигаль. Но тем ярче и самостоятельнее были мои впечатления, когда я впервые и, надеюсь, не в последний раз, попал на Афон летом 1963 года.

**
*

Начну с совета начинающим паломникам ("турист" тут не подходит): никаких вещей! На Афоне это признак плохого духовного тона, и осликам не нравится, а если вы уподобитесь немцам-рюкзаконосцам и пойдете пешком, то, как сказал один монах, единственный раз в жизни пожалеете, что не родились ослом.

Раньше русские пароходы шли из Одессы, и уже на выходе из Босфора была видна Афонская гора. Теперь мы лишены этого вида, даже если простремиться из Салоник в Константинополь: пароходного сообщения нет, но транспорт в Греции еще дешевле, чем в Италии, в переводе на доллары всегда что-нибудь мелко-двузначное.

Из Фессалоник нужно ехать в автобусе в Трипети —

пересечь почти весь трехпалый Салоникский полуостров, местами по пыльно-грунтовым дорогам, по горным вершинам. Но ни одна из них не сравнится с Афонским пиком, да и только ли из них!...

Афон — высочайшая в мире духовная вершина — неповторимо красив и довольно высок — две версты. Как ни одна из греческих гор, Афон — зеленый, но вершина сияет путеводной белизной, словно выложенная из мрамора. Это острый шпиль гигантского собора, но мягкой линии, и от нее — таинственность, но не неприступность. Почти геометрически правильный, только немного удлиненный, что придает ему легкость и изящность, конус горы никогда не был вулканом, хотя исчезновение в пятом веке двух афонских городов — ученые объясняют сильным землетрясением, да в 1905 году были слышны толчки, но это и всё.

Нет, недаром здесь было когда-то капище Аполлона, и не какое-нибудь, каких по тем временам было, как теперь театров, — к нему приходили за всякими прорицательскими советами издалека. На земле много религий, и только одна называется православием, но и она, и все другие имеют перед собой один и тот же психоисторический, языческий порожек. И недаром на века осталось имя языческого оракула Афоса-Афона.

Виргилий писал об Афоне: "Место, куда Зевес мечет свои молниеносные стрелы в глубокую полночь, так, что земля трясется." Никандр (146 г.): "Исполин, немного ниже звезд, стоящий среди необозримого моря". Митрополит Филарет (Черниговский):

"Одно, одно лишь знаю верно
Я о тебе, гора чудес,
Что ты таинственна безмерно
И недалека от небес".

Но лучше всех сказал византийский император Александр I Комнен: "Как Константинополь, этот царь городов, пре-

выше всех их, так царственнейшая и божественная гора превосходнее всех гор во вселенной"...

*

Ботик по имени "Ксения" легко подхватывает десятка два пассажиров, половина из них с бородами, и не только в рясах, но и в шортах. Это немецкие туристы, их, без стеснения громче всех разговаривающих, много, но есть и французы, удивительно присмиревшие, словно от мысли, что, кто знает, может быть, приближаются к истокам вечно загадочной для них, а пуще и для нас, "ам слав". Они хотят остановиться в русском Пантелеймоновском монастыре.

На мешках, узлах, коробках и корзинах со всякой всячиной и даже дровами — лежат несколько немецких рюкзаков с надменным выражением. Они новые, но им ничто не внове.

С узко-песчаного пляжа нам машут руками купальщицы, почти "без ничего", — берег дикий. Это мы видим последних женщин на этой древней земле: дальше вход им будет запрещен самой первой Женщиной мира. За этим строго следят уже много сот лет. Земля сия от этого, кажется, не пострадала.

Со мною едет монах-болгарин, его поручил мне кассир автобусной станции в Салониках, чтобы присматривал: старик плохо видит, еще хуже слышит. Но, завидев зеленые афонские холмы, стал бесконечно разговорчивым.

— Иванница, видишь? Это арсана русской обители Игнатия Богоносца. Нет человека!..

На берегу два дома с закрытыми ставнями и один ослик.

Проплываем мимо ветхого причала. Немного дальше видны пустынное подворье, большой дом с пустыми окнами и русская церковь на горе...

— Обитель Всех Святых. Нет человека!.. — Монах снова садится на свой узел. У него еще корзина с круглыми хлебами и большая банка с маслом, капает. Он в старой рясе, руки, видно, крепкие, сухожилистые, бровищи нависают — вы-

разительнее глаз (почти не видны, зеленеет что-то, вроде горошин).

— Нет человека! — повторяет он и слова эти горестным эхом замирает в моей душе.

Ко второй пристаньке (арсане) причаливаем. Монах уже более оживленно хлопает меня по плечу или толкает под бок.

Берег болгарского монастыря Зографа, основанного тремя братьями царского рода, в 11 веке.

— Здесь, братэ мой, самописанная икона святого Георгия. Один епископ приезжал посмотреть. Давно это было. Приехал. — Где, — говорит, — она есть, эта самая ваша икона. Эта? — и пальцем -то и ткни. А Георгий-то — мы его знаем! — палец-то, вроде, возьми, да и оттяпай. То есть, палец сей самонадеянный прирос намертво, пришлось отпиливать. Кусок торчит в иконе до сих пор, высохший, — и монах кому-то грозит своим, тоже высохшим, пальцем. Я представляю себе этот сросшийся с ликом святого перст в виде большой бородавки.

На следующей остановке садится жандарм, проверяет документы, а у некоторых и вещи, выворачивает наизнанку тошнотворную бедность.

Здесь греческий монастырь Дохиар. Снимаю его из приличия — всё подряд, ничего особенного, даже не особенно запущен. Но и здесь своя чудотворная икона Божьей Матери, знаменитая Скоропослушница. Тоже легенда:

— Служка однажды пыль около нее смахивал, да ей в лицо. И получил такую затрещину — свалился, заплакал и побежал всем рассказывать.

Русский язык болгарина-монаха меня немало удивляет, но узнаю причину его прелести: долгое время монах жил вместе с братией из Ярославской губернии, моей родины, родины настоящего русского языка. Впрочем, об этом можно спорить, да зачем?

Скалы, кустарники, песчаная пустота. И вот, за мысиком — один нз старейших греческих монастырей — Ксеноф (5 век). Большой, высокостенный, в меру потрескавшийся, даже ставни выкрашены в свеже-фнолетовый цвет, и виноградные террасы радуют глаз. Ксеноф заслуженно общелкан фотоаппаратами. Но вот они защелкали с пулеметной частотой...

— Руссико, руссико, Пантелеймон, — заговорили монахи, крестясь, а мой болгарин совсем затормошил меня.

На доселе диком берегу встало видение открытого, без угрожающе выступающих стен и башен, портового городка, а над ним высятся, кажется, бесчисленные купола церквей, больших и малых, и колокольня с невиданным во всей Греции колоколом. Несколько больших каменных корпусов стоит на самом берегу, но самый большой — видно, бывшая гостиница, глядит на туристов пустыми окнами обгоревших шести этажей. Другие здания тоже кажутся пустыми — склады, амбары — когда-то нужное, теперь бывшее.

Я, а за мною трое французов, хотели сойти, но жандарм не разрешил: все должны высаживаться в Дафни, таков "оккупационный" порядок власть имущих, поправших все международные договоры об Афоне, греков.

Через четверть часа после 5-тиминутной остановки у арсаны Ксиропотамского монастыря, все туристы покидают "Ксению", а монахи и греки плывут дальше, к Пантократору, тоже расположенному на берегу, греческому монастырю, и дальше, к другим монастырям, видеть которые за, так сказать, визуальный срок никак невозможно, а мне дай Бог посетить хотя бы русские обители, к тому же, каким-то чудом получив визу в два дня, эти самые два дня из семи положенных я потерял. Что можно видеть за пять дней? Посмотрим...

❖

Здесь нашу "Ксению", как на всех пристанках, встречают бодро-бородатые монахи с осовелыми осликами. Но прежде всего мы попадаем в руки жандарма. Он отбирает паспор-

та. Оглядываюсь на "здравствуйте" вместо "калимера" — мой монах здоровается с хозяином лавки. Русская лавка в главном афонском порту!.. Пожалуй, это всё, что осталось здесь от бывшего "русского присутствия". Но и то хлеб, да еще вроде кубанский: хозяин — кубанский казак. Кубань я хорошо знаю. Я нашел быстрый отклик в душе пожилого, уже непьющего, но еще доброго лавочника типа Балаклицкого. Отклик содержался в графине: желтоватое белое вино, к нему жареная картошка в томате. Правда, я предпочитаю красное вино, потому что от белого, как меня предупредили эмигранты в Париже, годам этак к 80-ти почему-то начинают трястись руки. Но в этом году по всей Греции черные сорта винограда запоздали, красного вина еще нет. Но будет. Это в просторечьи "рецина" крепка и ароматна и у нее своя история, о которой лучше не знать. Когда-то, встречая турок, греки намешали в обыкновенное вино чорт знает, чего — и туркам ужасно понравилось. С тех пор это национальный греческий напиток.

Нет, это не бакалейный универсал-космополит на Бродвее, здесь ассортимент бедный и по бедности ассортимента, "рецина" была повторена.

Дафни... На языческом языке — Дафнис, в древности порт идолопаломников. Отсюда на древнегреческих осликах поднимались на гору Афос, к Аполлонову капищу. С этого залива между двумя отрогами Салоникского полуострова, хорошо видно все юго-восточное побережье Святой горы, с тремя греческими монастырями и одним русским, Пантелеймоновским. В путеводителе читаем: "Пароход, идущий из России, с Дафни не виден до того момента, когда начинает огибать мыс..." До какого момента еще не будет виден пароход, идущий из России на Афон? Полная божественная неизвестность.

Кроме русской лавки в Дафни достаточно других достопримечательностей, например ослиный гараж и почта. Рань-

ше была и русская почта-телеграф, но теперь, в силу натянутых с СССР отношений, телеграфные провода не нужны. Но и с самой Россией отношения не лучше, не только из-за русских монахов, но из-за житейского принципа — тем более, в государственном масштабе, — неблагодарности.

Но — ничего. Через час возвращают паспорта с наказом явиться в Карею, в главную Афонскую полицию и Протат (верховное самоуправление из представителей — антипросопов — от монастырей) за специальным разрешением, стоимостью в 100 драхм (около 6 д.).

Из "тур-компании" в десять человеко-ослов, как мы подшучиваем с французами, двинулись в гору, потом на гору, потом с горы на гору. Трясучий морской горизонт сначала поражает, потом волнует, и, наконец, хотя конца не видно, дремотно успокаивает и укладывает первоначальное восхищение куда-то на дно души, и уже не хочется его видеть. Когда едешь на осле, особенно в верхо-вниз, ни о чем не надо думать, главное — чтобы он не задумался и не остановился. Немцы скоро замолкают, а мы с французами еще не жалеем, что не ослы, но от центавра не отказались бы.

*

Когда-то, тысячу лет назад, или, во всяком случае, 50, — в Карею из Дафни доезжали за два часа, в путеводителе так и сказано, но мы копытим уже три часа, а Кареи все нет. Но вот внизу показалась типичная греческая церковь, приземисто-круглая, и краснокрышие домики удивительнейшего в мире монашеского городка. Если о Пантелеймоновском монастыре, по внешнему городскому его обличью, можно сказать, что это моряк-монах, то Карея — монах-бакалейщик.

Но какой спуск! Удобнее сесть на ослике боком, но ветки орешника стучат по коленям. Лучше соскочить? Так все и сделали, и скоро пожалели: это не дорога, и не тропа. Ничего подобного я не встречал даже на Мартинике. Это — как бесконечные, окаменевшие гребни игуанодонов. Вот и иди —

прыгай по ним.

Пока дошли до первой узенькой улочки, выбились из сил, а ослики давно уже пережевывали отдых в тени.

Час дня, полиция — по такой жаре — закрыта до пяти, и туристам ничего не остается, как сидеть в грязном кафе и пить пиво. Но есть и коньяк. Первые туристические шаги по Святой горе без разрешения полиции всем кажутся опасными и даже греховными. Все подавлены, даже немцы.

Но величайшим грехом кажется мне потерять несколько часов, когда у меня так мало времени. Кроме того, мне здесь без малого тысяча лет. Быстро осматриваю эту всего одну улицу и несколько переулков с магазинами, лавками, иконописными мастерскими. На площади большой греческий собор, видно, новейшей постройки. Это — основа Кареи.

Поднимаюсь на довольно высокую колокольню, и только тогда вижу рядом совсем вросший в землю, плоскокрыший собор. Это старый Успенский. А с высоты нового видна панорама духовной над Кареей надстройки, почти сплошь русский антураж зеленых, синих и голубых куполков-луковиц. А за ним, совсем близко высится гигантский русский собор, вернее — настоящий, а еще вернее — сказочный город-храм.

Это Свято-Андреевский скит. "Серай", то есть Дворец — называют его греки. Иду влево, прямо по дорожке, мимо сухих виноградников, дымчатых маслин и крупнолистого орешника. Жара. Ящерицы, бабочки. Не видно цветочных трав и нет пчел. Нет и стрекоз. Питание акридами и диким медом отпадает.

Минуя мраморно-колоннадную, когда-то величественную порту, иду по глянцево- плитяному двору, скользко поблескивающему. Кое-где разрывают плиты целые кусты родной лебеды, но уж очень длиннобудыла, словно доисторическая. Не беда, что лебеда, но — ни души!..

Серай... Ты мог бы быть украшением любой столицы мира!

С паперти видно море. Долго стою, не решаясь войти в храм. Тяжелая дверь не заперта, но подается с трудом. Вхожу и ослепляюсь... Все русские храмы на Афоне отражают блеск и роскошь далеких храмов России, но иконостас Андреевского скита совсем ослепительный да и сам собор считается лучшим, по постройке, на всем Афоне, а значит, и во всей Греции. Но теперь о нем можно сказать, что он лучший по роскоши и худший по нищете.

На века золоченый иконостас стоит на грязном деревянном полу, стены и колонны храма в потеках, купол протекает.

Выхожу из собора со смутным чувством, что увидел нищету и роскошь Афона сразу.

В левом углу двора трехэтажный дом, гостиничного типа, заколочен с низу до верху. Из окон выглядывают самовары, один краном наружу, картины, иконы, подсвечники — старая Россия, теперь трогающая сердце каждого русского, да уже поздно. А может, и нет.

Покосившиеся колонны, разбитые или забитые двери, развалившиеся ступеньки, и лебеда, лебеда, ящерицы на земле и ящерицы и целые ящеры трещин на стенах. Уже испуганными, "жалкими" глазами очерчиваю круг — до врат и дальше — та же полоса отчуждения со сгоревшим зданием в ее как бы логическом конце: другого и нельзя ожидать.

Это была библиотека. 25 тысяч томов сгорело совсем недавно: старинные рукописи, церковные и научные книги. Об этом мне рассказал уже сам игумен, настоятель скита, архимандрит Михаил.

На всем облике старца — полное невнимание к себе, будто он уже не живет на земле, а только ходит по ней, лишь для того, чтобы входить в алтарь: все богослужения совершает сам! Его "подручные" пять монахов и иеромонахов так

стары, что уже даже стоять на службах не всегда могут.

Прежде всего, "мы — псовские".

— Значит, вы вроде земляк мой. Северные русские — все земляки. Помню мой Псков, как же ... Родина... Она и для монаха остается в силе и славе.

В детстве-то, бывало, ох, как трудно было учиться... В те времена во всем мире простым людям все давалось с трудом, не то, что теперь. Однажды взмолился даже. И вдруг полегчало. И ученье-то пошло быстро-блестяще. С тех пор и уверовал в силу молитвы. А теперь, слышно, в России — сразу определяют детишек, кто во что горазд, того по той линии и пущают. Это правильно делают.

С каким вниманием распрашивает обо мне! Как будто я не просто гость, а посланец от самых дорогих и близких друзей. Какие только вопросы не были затронуты, и самые неожиданные для монаха, и понятные для университетски образованного человека, но больше всего о воспитании детей, в чем я ничего не смыслю, и о книгопечатании на Руси, причем почтительно выслушиваю настоящую лекцию с цитатами наизусть. Последнее понятно: о. Михаил большой книголюб и страстный коллекционер. Мы, русские, всегда к книге относились с большим почтением. Летописец говорит: "От книжных слов приобретаем мы мудрость". Монастыри наши были первыми и библиотеками, и школами. Как можно после этого уничтожать святые стены? "Вот, и Горький, — о. Михаил, призвав на помощь несколько морщинок на высоком лбу, вспомнил, — писал: " Книга, может быть, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человеком". Но о сгоревшей своей библиотеке — вскользь и сухо, как коммюнике. А ведь всю жизнь собирал...

Высокий иеромонах, один из 80-летних, ставит на заваленный книгами стол поднос с бутылью какого-то желтого вина, — испуганно думаю про рицину, — и как-то по особому медленно, с костлявостью четких движений, уходит.

Нет, это не резиновое вино, а настоящий ликер, попробовав, я даже не нашел в своей богатой на этот счет, почти как винный подвал, памяти — что-либо равное по крепости аромата.

Выходим во двор. Прямо против выхода стоят обгоревшие стены библиотеки со вставленными в небо окнами. Потом я узнаю, как много на Афоне говорят и скорбят о ней и о том, будто о. Михаил не старался ее спасти. Конечно, власть игумена велика. Восьмидесятилетние монахи, как один, бросились бы по его слову в огонь и воду. Но воды не было. Поэтому игумен запретил спасать дело всей своей жизни. "Пусть горят"! — будто бы сказал он.

Но, вместо того, чтобы таскать немощного старца на допросы, или к нему таскаться, лучше бы полицейские власти позаботились о противопожарной охране.. Даже следов ее нигде не видно, или она, вместе с пожарными, прячется подальше от огня. До сих пор, кажется, на Афоне еще не было случая успешного тушения пожара: уж если что загоралось, то сгорало до тла. А самый большой дом на Афоне, уже упемянутая гостиница Пантелеймоневского монастыря, сгорел по вине самих же, очевидно, нарецинившихся, полицейских. Уж куда дальше! Все под Перуном ходим, даже полицейские, к тому же, на Афоне они не простые, некоторые иногда выходят в историки, как например, г. Милонакос, о нем (и ему) еще будет. В тиши афонской, возможно долгие годы формировался историк школы Покровского: современная политика, опрокинутая в прошлое, чем сама история, в сущности, опрокидывается ко всем чертям.

О санитарных условиях Афона неудобно даже писать, остается только поражаться внутренней чистоте русских монастырей, которые мне довелось видеть: каких старческих усилий она стоит!..

— А вот здесь они заседали. — Игумен показывает на трапезную, настежь открытую — большой, словно весь и

раз навсегда пошатнувшийся зал. — Этот стол стоял здесь, а тот — там.

— Кто "они"?

— А как же; празднователи тысячелетия Афона, с Афиногором во главе.

— И как же оно прошло? Интересные были доклады, речи и вообще меню?

— А не знаю. Меня не пригласили.

Так. Все ясно. Недаром архиепископ Аверкий Сиракузский предупреждал: "Но не радостным будет это празднование!" Хозяина обители, у которого собрались, о. Михаила, прожившего на Афоне безвыездно 50 лет — не пригласили.

— И вот, отец Николай, игумен Свято-Ильинского скита, отказался их принять. Никого из высоких гостей не пустил.

В этих словах о. Михаила я не слышу осуждения.

...Русский-то я русский, но к тому же эмигрант, хотя и не очень старый, и вечное паспортное ущемление должно привести меня к вратам полицейской "обители". К чему сии настороженные формальности! Военных объектов, как будто, нет, как не видно и объектов особого государственного попечения. Нет ни одной не только автомобильной, но хотя бы колесной дороги, если не считать наспех расчищенной, бывшей турецкой (при турках еще как-то ездили) — специально к празднованию 1000-летия. Но как по ней ехали высшие иерархи церкви — не могу себе представить иначе, как крестясь и охая. Это напомнило мне приезд генерала де-Голя на Мартинику. Колдобины и почти бомбовые воронки дорог засыпали песком, а домишки побелили потемкинской известью (особый исторически-пропагандный сорт). Не знаю, какие ковровые дорожки расстилали по всему миру перед Хрущевым, большим любителем поездить, но Сталин почти никуда не ездил даже по своей стране: боялся.

*

В провожатые о. Михаил дал мне, кажется, самого от-

борного своего восьмидесятника: я за ним едва поспевал по узким и путаным тропинкам через сады, виноградники, кустарник. Только в одном месте, перед полутораметровой каменной стеной, он остановился и стукнул клюкой. Это означало, что я должен подсобить.

По дороге болтаем о всякой всячине. Вон там виднеется келийка, жил один монах, а рядом другой. Один другому и говорит: "Не ходи по моему огороду и через мой виноградник". А тот ходит, для сокращения дороги в церковь. Тогда этот подговорил рабочего, и зарубил тот рабочий монаха топором. Доказать, конечно, нельзя было, но монах-элодей жил до 120 лет, все никак не мог помереть, пока не покаялся. А рабочий-грек тоже монахом стал. Это совсем недавно было, лет сто назад... А то керосиновый склад сгорел. С хозяином. Конечно, — поджог. Но кто поджег — неизвестно. Тогда и находят в пропасти лавочника-грека — соперника. Значит, совесть-то допекла — и бросился... А пожары часто случаются. Немощные мы все, глухие, полуслепые. электричества нет, лестницы прогнили, ходить опасно.

Опасно, да: и чорт ногу сломит.

Над административной Кареей сияют куполки трех русских обителей: Св. Троицы, Благовещенья и Игнатия Богоносца.

Но когда подходишь к ним ближе, от их трогательной русской красоты ничего не остается... К некоторым подворьям даже не знаешь, как подойти, с какой стороны войти и есть ли там хоть один жив человек.

Но кто-то же возделывает эти виноградники и капустные грядки!

Колонны, подпирающие величественные своды, потрескались и крошатся у оснований. А монахи живут здесь. Правда, четверо — на три обители. Когда-то, в надмирные дни блокады северной русской столицы, меня поразила и успокоила мысль: все-таки, живых — больше, чем мертвых.

Здесь мертвых больше, чем живых, мертвых зданий, созданий исключительно монашеских рук.

Александр Македонский любил Афон, но отверг идею своего любимого зодчего Динократа: из вершины горы высечь статую Зевса, с одной стороны построить город, с другой — водоем. Зодчий предвидел на века вперед: воды на Афоне до сих пор не достает.

Ксеркс похоронил на Афоне ученого инженера Артахэя. Это все, что можно сказать об отношении к Афону профессиональных строителей. А о непрофессиональных рассказывают легенды. Простые смертные, бессмертные монахи своими руками возводили высокие и крепкие стены из дикого местного камня и серого мрамора. Через глубокие овраги и лощины, вручную на платформах перетаскивались тысячи тонн материалов. Даже сталинские рабостроители позавидовали бы! Сложнейшие железные конструкции ставились кустарным способом, и монах Прохор умел искусно гнуть холодные рельсы винтом, он же был знаменит, как специалист по крышам и куполам.

Теперь все это протекает, крошится, рушится.

И, кажется, никому до этого нет никакого дела.

*

Слегка запыхавшийся восьмидесятник передает меня иеромонаху Владимиру. Пьем чай с ликером крепчайшего аромата и отправляемся в путь. Мне надо успеть до ночи дойти до Свято- Ильинского скита.

О. Владимир проводил меня до полдороги и долго не хотел отпускать одного. Дорога, правда, одна-единственная, и я один-одинешенек, но внизу, уже на виду Пантократора, она сворачивает влево и вверх.

— Там крест, там крест стоит распятый, — напутствует о. Владимир, — не заблудитесь.

"Крест стоит распятый" — повторяю я смутно и тупо, усталый.

Солнце опускалось за спинами гор, освещая одинокий и единственный афонский пик. Он светился мягко-розовато, будто зажженный изнутри. Потом и он погас, и я остался один в серой полутьме, посыпанной сверху звездами. Млечный путь протянулся и повис над морем, как сизый, с искрами, дым от океанского парохода.

Я шел и шел по острым камням, словно уложенным торцами специально для испытания паломников. Нигде не видно никакого монашеского жилья. Ни огонька, ни звука. Обычный страх сомненья закрался в мою, неподготовленную к Афону, душу: конечно, я заблудился, как всегда. Пошел не в ту сторону, как всегда. Повернул направо, вместо налево, словно заранее вопреки критикам.

О чем только ни перевспомнишь, когда идешь один в сумерках растерянной безнадежности и досады, что опять заблудился! И камни вгрызаются в тонкие, как на грех, парижские туфли. Ну и подвел же меня о. Владимир — не под монастырь!.. Часа два, говорит, ходу, — а я уже прыгаю с камня на камень часа три даже по восточному времени. Конечно, легкой монашеской стопе позавидует любой олимпийский бегоход — особая спортивная порода, выведенная мною на словах, а древними греками — на деле. Но и мне немало приходилось ходо-бегать, даже худо-бегать — и от немцев, и от своих. Только от самого себя так и не удалось убежать.

Не лучше ли присесть?

И задремал. Тонкий сон... Никогда не задумывался, что это в действительности то-есть наяву — означает. Легкие сумерки, вроде вуали, дневной памяти — перед глубокой ночью. Святитель Димитрий Ростовский рассказывает о тонком сне Петра Афонского, когда ему явилась Матерь Божия и сказала, что в Афонской горе будет покой его, "ибо она есть жребий Мой". Этот "тонкий сон" брезжит сквозь многие писания об Афоне, будь то странички для детей, очерки

Б. Зайцева или доклад архиепископа Аверкия Собору епископов русской Православной Церкви за границей (1962 г.).

То, что я увидел — было, как в тонком сне, в мерцательной ткани звезд над морем и всем миром. Вернее, сначала я услышал: мягко и грустно ударил, по моей груди, колокол и легко осенил меня голубой полоской, и мыслью о том, что звук, свет, цвет — всё это стремится над миром одним потоком — из одного непостижимого и недостижимого Центра.

Забыв о камнях, побежал в гору — навстречу колоколу, как навстречу чуду: уже прикоснулся к нему краем уха, — но он ударил еще раз-другой, и плавно затих. И снова ни огонька, ни звука. Но все звезды и созвездья Афона, славянские и греческие, расцвели на тонких — лучистых стебельках — над тем местом, где — внизу, совсем близко и вместе сферически глубоко, как на дне темного озера, тесно прижались друг к другу — черно-зеленые, уже повитые ночью, семь куполов с главным, огромным, посередине.

Купола подымались из ущелья, как клубы дыма.

И вот весь собор уже виден мне, почему-то в синем свете, безмолвный каменный схимник.

Но чувство глубокого и древнего озера обнимает меня: здравствуй, град Китеж на чужой стороне!

Всё молчит мне в ответ, и купола уже плывут в небе, в море молчания. Темные колонны кипарисов высятся над каменной оградой. У ворот невысокие кущи — будто кипарисы на коленях.

Слишком велико было это все-обволакивающее молчание, чтобы мне так, вдруг и ответили.

Только через несколько вязких минут кто-то позвал:

— Василий! Поди, открой.

И старый грек молча открыл мне.

Как часто я слышу в Греции это имя — Василий, с чисто русским мягким ударением на среднем слоге. И думаю — вспоминаю о моем брате. В 1941 году он был комендантом не-

большой крепостцы Ломжи. Она одной из первых приняла на себя удар в спину советской армии. Считается, что весь гарнизон погиб. Тем не менее, брат попал в категорию "пропавших без вести" — очень удобную для правителей, чтобы не платить семьям солдат, погибших за Россию, да, но и за них, а еще больше из-за них — преступников, растяп и разгильдяев, допустивших немцев до Волги.

А второй мой брат Виктор, кавалерийский полковник, убит под Дрезденом, когда уже и Берлин был взят.

Братья мои, в разных странах лежите вы, а на этом листе бумаги, я положу вас вместе, как на моем сердце...

...Помилуй Бог всех убитых и без вести пропавших на этом или на том свете.

***

Моя первая в жизни монашеская трапеза, если не считать полумонашеского образа питания в кратковременной для меня и романтически туманной Парижской духовной академии. Слабенькие свечи, мощные бороды. Но почему не все бородаты? Что это значит? Не понимаю и не нравится. Но это же греки-работники. Старшему из них не больше 55 лет. А монахи — сколько их? — кажется шесть, да еще один сидит в тени, а другой ушел в тень, третий, слышно, умирает. Все они так стары, что тени их на стенах кажутся живее и реальнее. И все тени в этом высоком зале, в тем числе и моя, привезенная из Нью Иорка и Парижа через Рим и Афины, Барселону и Лисабон — похожи на монахов!

Игумен архимандрит Николай угощает меня... всё тем же сногсшибательно-ароматным ликером:

— Испейте-ка, сбивает жар.

— О-кей, — говорю я и тут же сбиваюсь на более привычное тре бьен, — согласен, с кислым ликом, что ликер сей сбивает жар, но не поддает жару.

Естественно, мне важно знать, кто это здесь умеет варить такие вкусные, хотя и постные борщи? Греки? Молод-

цы. Впрочем, для этого у них было достаточно веков.

Потом долго хожу по длинным, казематным — в свете редких свечных фонарей — коридорам гулко-пустой бывшей гостиницы, и почти натыкаюсь на луну. Она стоит в окне нараспор, как в проломе, красная и мглистая по краям.

И во тьме чувствуется порядок. Но этот вечный, повсюду в Греции, запах пыли, она — как опавший за день зной... Долго хожу по коридорам, и как лунатик, все выхожу на луну, она бледнеет, но все в окне, как вставилась.

Завтра о. Николай разбудит меня чуть свет. Ему все равно надо когда-то съездить в Карею. Вот и потрясемся на осликах. Времени у меня мало. Если бы знать, что можно успеть увидеть. Где переспишь, где только передремлешь. Так и в жизни, особенно в творчестве: если бы знать, сколько еще мне отпущено — только днем работать, или днем и ночью?.. Как один художник просит соседку: —Таня, хочу нарисовать, как ты дочку кормишь грудью.

— Пожалуйста, Ляксандрыч.

Годы прошли, А он опять:

— Таня, посиди еще разок с дочкой.

— Что ты! Она уже большая, вон бегает.

Утром — нежные переливы малых соборных колоколов, почти колокольчиков, разбудили во мне пасторально-корреспондентские воспоминания, а заодно уже насиженное чувство ослиного наездника.

Но пока ослики были поданы, успел осмотреть все подворье с когда-то переплетной, когда-то типографией и другими когда-то службами.

Соборный храм скита, во имя пророка Ильи, строился много лет и был освящен только в июне 1914 года. Было на что подивиться! Есть чему подивиться и теперь... Со всех концов России шли пожертвования. Один иконостас в четыре яруса стоил 17 тысяч рублей. Даже доски для пола пришли из Одессы. Гигантские и невиданные по тем временам

железобетонные связи охватывали собор, как обручи, сверху, по карнизу, по стенам и даже под полом.

Ключ в руках сопровождавшего меня монаха похож на увесистый ломик. Но кованные врата бесшумно открываются, и снова я вижу роскошь на нищете.

Блеск четырехярусного иконостаса нового собора не отражен полом. Монах объясняет, что во всех русских храмах на Афоне полы деревянные, а не каменные, как в греческих оттого, что русские монахи за сотни лет так и не привыкли к гранитным плитам и жаловались на ревматизм.

— А кумпола-то протекают. А греческие — нет, никогда, не гляди, что некрасивые. А вам, поди, больше нравятся наши!

Да, греческие храмы поражают своей простотой, особенно после итальянского барокко и витиеватой древне-русской поэзии по дереву и камню, с позднейшими византийскими вознесениями.

По мне церковь без купола или хотя бы куполка — как без головы. И эта духовная ось Рим-Византия-Москва покоится на куполах, в том числе и русско-афонских, и никакими разделениями ее не разделишь и ересями не прервешь.

Помнится, грузинский храм в Поти очень похож на любой греческий, в Кутаиси тоже (храм Баграта, крестово-купольный, полуразрушенный) и многие армянские храмы (Ахтамар на озере Ван, Звартноц, храм "Бдящих сил")

... Второй раз в жизни сажусь на ослика и снова, как вчера, смиренно благодушествую. Не будь этого ослиного путешествия по Афону — вся моя поездка из Америки в Европу — сплошной психо-экономический провал, близко похожий на долговую яму, — рисовалась бы мне иначе, в этаких ультра-модерных мазках, вроде ослиным хвостом по полотну,

Я не получил ни своих вещей, оставленных в Париже два года назад, ни рукописей, не встретил никого из старых знакомых, в том числе бывшую жену, урожденную и, к опа-

сливому моему сожалению, ярко выраженную корсиканку. Но это небольшая потеря. Я еще собираюсь проехать во Францию через неделю-две.

Прерывисто, как всегда умею, рассказываю о. Николаю, и он только кротко поддакивает:

— Вот и хорошо, вот и отлично, правильно, так и надо. Не понимаю, что тут хорошего и что тут так и-надного, но соглашаюсь, ему виднее, особенно после не нового уже для меня сообщения, что —

— Вон у отца Михаила библиотека сгорела, и то ничего, а вы о каких-то вещах, да рукописях. Какие-такие рукописи?

— Об Афоне попробовали бы написать! Вот Толстой, хоть и отлученный был грешник, а хорошо писал. Как это у него — тут некоторым ученым монахам это глупостью кажется, а мне нравится — "Трое нас, трое вас, помилуй нас!" — и точка. Так и нас тут трое: Илиан, да Михаил, да я. И все мы родные, и все мы разные! Илиан, например, сослужил с Никодимом советским, Михаил разрешил у себя им всем заседать, а я не пустил никого, не взирая на Афиногора. Но лично против них я, как слуга церкви, ничего не имею. Даже обидно, что греки обманули меня насчет Московского патриарха. Подложили бумагу подписать, что я не желаю, чтобы он посещал Афон. Я и подписал ведь только за себя. А получилось, будто за всех нас троих. а Илия и Михаил-то об этом ни сном, ни духом. Так и не приехал бедный Алексий, и по человечески мне его очень жаль, стар ведь, и, слышно, болен, и не у дел... Афон ему — ох, как нужен!

Один из Василиев — сухой и крепкий грек — идет пешком, с длинной хворостиной. Около какой-то каливы стоит ослик-дитятя, с тоской и завистью смотрит на наших ослов: "Счастливые: на вас уже ездят!" — прочел я в доверчиво моргающих глазах святого животного.

С ужасом гляжу под копыта. Мы уже подъезжаем, но как я мог вчера здесь идти? Это ноголомничество. Но близкое море все время маячит, голубя. еще не очень жарко, и мухи никого не донимают. Чем ближе к Карее, тем чаще встречаются греки-монахи и работники. Нет бороды — нет монаха, отличить легко. Только и слышишь:

— Халимера, Николай, Халимера, Василий. Снимают шапки, подблагословенно крестятся. Нет, это не читатели господ Милонакосов с их национал-стряпней, вроде таких брос-шюр, как "Святая гора Афон и славянство". Но об этом потом, да еще не решено, стоит ли связываться.

Мне смешно слышать "халимера" — похоже на гибрид греческой химеры с холерой, пришедшей, кажется, из глубин Азии, откуда вечно приходится ожидать массовых напастей, хотя и Запад нас не баловал. Как только Уральский хребет до сих пор не треснул под натисками то Европы, то Азии. Но тевтоны и Наполеон — Европе этого показалось слишком мало, досадный недовес, по сравнению с татарами, и надо было еще Гитлеру сжечь пол России. Такого исторического хамства больше не повторится,

Последняя война была, кажется, последней.

Мир потрясла "идея" посильнее капитализма и коммунизма — нацизм. Поэтому и пришлось Америке объединиться с Россией.

Национализм — как звериный зов крови, он смывает политику и здравый рассудок без следа. Чан-кай Ши считает территориальные претензии Китая к Индии справедливыми; Франко ни слова не сказал против Кастро; де-Голль и Франция молчат о канадских сепаратистах; а русская эмиграция, в глубине своей, поистине, загадочной души, как будто довольна тем, что Россия осталась великой и сильной страной и довела до истерики и конца на буддийский манер еще одного завоевателя.

А о капитализме и коммунизме слишком много кричат с обеих сторон и мелкие шавки зарабатывают на этом крике.

Могут докричаться.

С последней мыслью о. Николай целиком согласен, но мы уже въезжаем в Карею.

Со своими старцами в Протате и полицией она больше не интересует меня. Мне бы только найти о. Владимира,вчерашнего поводыря. Зарисовать бы его тончайшей бледности лицо — лик совершенной, как у о. Михаила, отрешенности от жизни. Последняя фотопленка — не расчитал — вся пошла на Град-Китеж и его начальника с боспомощным, немного припухшим, по-монашески, лицом и заплетенными косичками. Кроме того, по общему мнению, о Владимир всё знает, насчет осликов или показать дорогу через хребет — на "Пантелеймона", как здесь говорят запросто.

Но сначала отдохнем. Рядом с почти совсем ушедшим под землю Успенским собором заезжаем в небольшой двор — очевидно, собственное подворье Ильинского скита. Помогаю о. Николаю подняться на второй этаж не менее ветхого, чем он, домишки. Если не считать обязательной греческой пыли, здесь опрятно и почти уютно. Но жаропонижающего ликера нет, и Василий, получив от меня какие-то драхмы, идет за вином, и заодно прихватывает в починку мои, вконец разбитые туфли. Вино приносится, главным образом, для меня, и Василий тоже охотно выпивает, достает из кулька хлеб и помидоры, но о Николай повелительно напоминает о кильке. После ослиной тряски можно съесть и осла. Давно не ел с таким аппетитом. Надоевший "стандарт ойл" греческих ресторанов, знаменитых турецкой кухней и, в частности, шашлыком, здесь показался бы кощунством и варварством.

Пока Василий ищет повсюду о. Владимира и не находит. мы потихоньку говорим — ворчим о ревматизме, и что о. Владимир тоже хорош: где его носит, по каким крышам, допочиняется в свои семьдесят-то лет... А что касается раз-

деления церквей, то это идет с 1054 года и конца не видно...

Я мысленно перечисляю все грехи "непогрешимых" пап, и сам догмат "о непогрешимости пап в делах веры", с обычным выпадением из сознания последних двух слов, а они, все-таки важны, кажется мне неприемлемым до скончания века.

Паустовский недавно написал, словно прошептал поэтической украдкой, о "пастушечьем христианстве, еще не извращенном ложью и властью". Бедное православие, особенно всероссийское, уж чего-чего, но власти оно никогда не имело.

Доставалось ему и от татар, и от тевтонов, и от царей даже иных своих, и от католиков, и от большевиков по сей день, особенно от сталинских последышей; не всегда жаловали и жалуют его братской любовью и греки, благодаря ему ставшие свободными, хотя бы от турок, и даже в Америке ни один президент ни разу еще не поздравил миллионы православных американцев, хотя бы с одним праздником.

Василий, сколько не искал, так и не нашел о. Владимира. Хоть самому лезть и кричать со всех крыш по методу некоего плодовитейшего публициста П-ва в его неутомимой борьбе на словах, весьма путаных, за всяческую свободу.

Видно, не видать мне больше о. Владимира, его иноческого, иначе не скажешь, лица. Но слышу, тихой непримиристи, голос: "Напишите, обязательно напишите против Милонакоса! В Пантелеймоновском найдете, с кем поговорить..."

Последние слова оказались пророческими: нашлось, с кем.

Но сначала надо туда попасть, на этот берег с бесчисленными куполами 20-ти церквей. Хозяин-архимандрит улыбается сквозь брови, они у него — как оборванные суровые нитки, молчит, молчание — единственное, что в нем обманчиво, сказал бы — лукавое, но это было бы от лукавого, нельзя. И без того фамилия Милонакос настраивает меня на не со-

всем подходящий ни к месту, ни к этой статье, игривый лад: скажем Милонакосу — выкуси, накося. Заодно вспомнил моего монпарнасского приятеля Милана (фамилии никогда не знал), русского (по матери) серба-сорбонца, стоика-стольника (спал на столах). Кроме Сорбонны и стихов по русски, он подмалярничевал

Почему-то люто ненавидел предпоследнего папу Пия 12. В одной из эпиграмм, отправил его в ад:

Качает черт качели,
На них сидит Пачелли.

Обижался: "Не понимаю вас, русских. В эту войну хорваты-католики, с ведома и под покровительством итальянцев и немцев, жгли и вырезали православных сербов. Мог ли Папа помешать этому? Не знаю. Допустим, вас это мало трогает. Но вот русского патриарха, хотя и Московского, на Западе называют "чекистом в рясе". И вы молчите. А против моих стихов говорите так много, хотя и не очень искренно, больше для приличия лояльности... Что можно Риму, того нельзя Афинам..."

В молчании о. Николая таился для меня — ослик! И Василий дается мне в провожатые до главного хребта.

И снова мирно трясусь, и весь горизонт покачивается голубым коромыслом, с подвешенными землей и небом, тот самый горизонт-колыбель величайшей из дошедших до нас культур. Сколько народов и судеб он убаюкал, раскачал и выбросил за борт земного шара...

А меня он настраивает на вечность.

С крутых и высоких поворотов я вижу Карею в короне русских куполов. Так и не нашел времени зайти в единственную гостиницу, а ведь обещал французам. В путеводителе за 1913 год кратко сказано: "В гостиницах, довольно грязноватых, можно получить номер и продовольствие." Меня Бог миловал...

Еще один поворот, и далеко внизу сверкает Серай, Свято-Андреевский исполин с зелеными куполами и красными крышами. Как он похож теперь на кладбищенский памятник в окружении мертвенно-черных издали, кипарисов.

Хорошо виден греческий монастырь Пантократор, как средневековая крепость на берегу моря. Сухая гранитная линия причудливо вычерчена в морской синеве.

Здесь уже нигде не видно ни клочка ровно возделанной землицы, кусты да камень, и тощая приморская сосна, искривленная ветрами. Взбираемся все выше в гору, и все уже тропа. Василий, ни слова не говоря, как-то на спине и локтях сползает с осла, и я следую его движению. Теперь мы должны, если не везти, то вести ослов. В пятки тычется теплая морда, и боюсь, чтобы не наступили копыта. Нет, здесь не всякий пройдет, даже не всякий осел. Это, брат, настоящее паломничество по местам, оставленным Россией без материально-материнского попечения.

Вот мы и на перевале. Василий садится, закуривает и сосредоточенно улыбается самому себе, и мне, и осликам.

Как много мне видно отсюда, как далеко и безгранично!..

Но я не вижу Свято- Ильинского скита!

У каждого русского человека должен быть — повстречаться на пути — свой град Китеж. Мой град Китеж — этот монастырь, один из множества островков русского православия на Афонском полуострове. И я его не вижу. Он утонул в своей лощине, в океане солнца. Ну, что же — на то и град Китеж Афонский.

Солнце в зените. Афонский пик смутно желтеет, будто покрытый злащеным платом.

Далекий ветер с родного востока наполняет мою душу летящим содержанием, я понимаю, что она — не просто воздух в легких, а что-то более веское.

Холодноватый ветерок! Давно не вкушал. Ни с каким блюдом в Греции его не получишь среди лета. Внизу, даже у моря, ветры обычно несвежи, будто выпущены из запертого холодильника.

Избалованный Ватикан стоит на перекрестке мировых туристических дорог, а здесь десятки гранитно-мраморных соборов, полных несметных музейных и духовных богатств, стоят в глуши, в гордом и отрешенном одиночестве-иночестве, и дорог к ним нет, только тропы.

Я все смотрю и смотрю вниз, а кажется — вверх — так безгранично-условна линия этого священного горизонта, за которым, имей только побольше душевной чистоты, может быть, и открылось бы что-то.

И вся моя безумная, со стремительным видением двунадесяти стран, поездка в Европу и стихийная — на Афон, наконец, нашла свое оправдание здесь, на этом перевале. И все мои дела, а более безделья, и неудачи от удач — показались безразлично мелкими в примирительно глубоком свете этого самого высокого полдня моей жизни.

Василий встает, улыбается еще более сосредоточенно и показывает рукой вниз: — Руссик — Пантелеймон там, понимаешь?

Я понимаю, что теперь должен отпустить его с осликами и с миром, и дальше идти сам. Спасибо тебе, Василий, спасибо, о. Николай!

Хочется еще немного посидеть и ни о чем не думать, как на ослике. Голова раскачивается, как в люльке, в тишине. И небо любимого цвета Божьей Матери — голубое.

Наверно, по такой жаре здесь никто не ходит. Молятся или спят. Каждый раз, когда за поворотом скрывается горизонт — становится нестерпимо душно и как-то безнадежно идти. Этот полдень — полжизни! Я запомню тебя на весь остаток... И каждый шаг и миг на этой Святой номер 2 земле. Хотя ничего необыкновенного не произошло.

Нагорный Руссик открылся передо мной не так неожиданно, как Свято-Ильинский град Китеж, и на плато, покрытом виноградником. Но, кажется я нигде в мире не видел церкви заброшенней и пустынней. Церкви!.. Высочайший храм, возведенный в небо с искусством и любовью — на века, стоит один среди альпийских долин и холмов, в разоренном подворье.

Ни души. Только где-то сквозь тишину и запустенье журчит вода. У ворот, из гранитно-гробничной глыбы выбегает ручеек-старатель, намывает молчанье-золото.

Поднимаюсь по широким ступеням серого мрамора. Дверь храма закрыта, но не заперта. На зелено-медной ручке висит мешок. Что в нем? На ощупь — кажется, сухари, монашеская нищета. Открываю тяжелую дверь и вхожу — как в старинную книгу в гранитных обложках. Пахнет архивной пылью. Здесь она покрывает все, и мою душу. Становится отчаянно тоскливо, и через минуту я почти выбегаю на свет Божий, крестя потный лоб. Казалось бы, что может быть печальней и заброшенней деревенской русской церквушки? Этот Руссик — печальней и заброшенней.

Старый Нагорный Руссик! Еще в 12 веке ты принял русских монахов из Обители плотников (Ксилургу). Здесь был пострижен в монахи Св. Савва Сербский. Здесь были заложены духовные основы величайшего из Афонских монастырей; Пантелеймоновского. Для него Руссик был полустанком на многовековом пути.

Может быть, он уже недалеко, но что ни поворот, то новая скала заставляет его от меня. Вот аккуратно поваленный лес, и следы шин, как доисторических животных, на камнях. Уступы виноградника сменяются культурным орешником и оливковыми рощами. Неожиданный ручей, как белый горный козел. сверзился с ломаной кручки. Как не выкупаться в маленькой, совсем прозрачной в зное заводи. Не столько купаюсь, как воробей в луже, сколько пью и пью, и все мало.

А через полчаса плаваю в море!

В ста шагах от меня живет тихий и еще призрачный для меня порт-монастырь. Вся грудь горы, подымающейся за ним, в крестах.

Но вода не охлаждает. И сколько не иди от берега, все мелко, потом сразу обрыв, а дальше, как мирные мины, плавают огромные медузы. Таких я нигде не видел: полметра в диаметре, с желтком среди эластичного блина, от желтого до оранжевого оттенков.

Двое в "штатском" похалимерились со мной, отошли шагов на сто к мысику, разделись и голые бросились в воду. Туристы или паломники. Но без фотоаппаратов.

В жидком зеркале залива плавают блики и отблески облупленной каменной красоты, и тонут слепые окна обгоревшего или совсем сгоревшего, а стоит над водой только остов шестиэтажного дома. И оттого печать запустения на земле и в воде.

Но Афонский пик не кажется голым. Он покрыт блестко- желтой солнечной ризой.

⁂

Жара нестерпимая даже для меня, опаленного многими южными солнцами от Сухума до Мартиники. И тишина — я устал от нее в себе и вокруг, в этой мирной, мелеющей с веками чаше Пантелеймоновского залива. А главное — все время хочется пить. Вода прозрачная, но, Боже мой, ни капли в ней и над ней холодка!

И пришел я туда, где можно утолить не одну жажду. И здесь игумен в черной рясе повелевает поднести мне того же ликеру, что, по обще-монашескому мнению, сбивает жар с любого путника, как бы ни был он притомившись.

Глаза у архимандрита Ильи очень спокойные, а когда не спокойные, то строго-ласковые. Сколько ему лет — трудно сказать, а спросить у него — еще труднее. Есть такие люди: у них легко просить, но трудно спрашивать. Какой-то

мягкий и тонкий запрет светился в его глазах. Нет, это не резкая, аскетическая отрешенность о. Михаила, не детская и вместе мудрая доверчивость о. Николая, — это печально-озабоченная, вкрадчивая одухотворенность.

Но к каждому из них невольно проникаешься — иначе не получается — чисто религиозной деликатностью.

Трое вас, только трое вас. Может быть, последние русские игумны — слуги великой афонской Игуменьи.

Три богатыря-монастыря, покинутые Россией и вдали от нее, сражаются с наступающей пустотой. Больше всего досталось Андреевскому скиту, но мне еще мерещится над его полуразрушенными бастионами — Андреевский стяг, и град-Китеж Свято-Ильинский еще не опустился на самое земное дно, и Пантелеймоновский хранит музейно-горделивую осанку, заброшенную тишину, да пыль архивну.

Еще далеко до захода солнца, а в верхней церкви (Покрова) полутьма, плавятся куполки свечей и сначала мягко-выпукло, потом все ярче проступает иконостас невиданной церковной роскоши, весь — как одна, цельно- ослепитеальная икона. Что-то призрачное, сквозное коротко сверкнуло полоской желтоватой над Царскими вратами, всколебалось мановением легко-пламенного ветерка от свечей.

Будто по глазам и нервам провели чем-то нездешним.

Потом я до самой луны стоял на балконе, повитом синими глициниями. Почти прямо передо мной огромный соборный колокол покачивался в закатных блестках моря, как бронзовая гондола.

Взошла худоликая луна в голубоватом нимбе.

С внушительным ключем, от комнаты № 23 в кармане, долго блуждаю по бесконечным коридорам. Далеко мерцающие ореолы свечей манят меня и еще больше сбивают с толку. Но все же я нашел кухню по запаху русских щей, а потом, на сытый желудок, и свою комнату — с видом на облуненное водонебесье. Долго смотрел на луну — и уже ус-

нул, потому что она вдруг зазвонила. Очевидно, началась заутреня. На Афоне почти во всех монастырях и обителях, кроме Андреевского скита, — принято восточное время; момент полного заката солнца считается началом нового дня. И алтари обычно обращены к востоку, как вся Православная Церковь — к Востоку свыше — Христу.

Часа в три утра по моим грешным западным часам меня разбудил стук в дверь. С этими часами у меня связана одна из романтичнейших историй недавнего Парижа, когда весь он несколько недель говорил о Beau Sacha, молодом кубанском казаке удивительнейшей, хотя и не совсем добропорядочной, судьбы. Не знаю, где он теперь, но желаю афонского тепла и света его озлобленно-доброй душе. Он всегда говорил, что романтика — это Восток, а Европа — только культура. Читая названия парижских улиц, замечал: "Много святых — и ничего святого".

Это о. Серафим пришел за мной, разбудить в церковь. Познакомился с ним за ужином. Он из карпатороссов — значит, больше русский, чем мы, русские. И говорит без акцента, только с мягкой, монашеской, оттяжкой гласных.

Теперь в церкви совсем темно, один иконостас искрится, светится сам собой созвездием икон. И снова что-то над Царскими вратами, смутно и легко колеблет мою душу. Слаженная веками служба идет без пауз, я почти не слежу, хор словно прерывает святаго Евангелия чтение, а его нарушает чистый и беспомощный старческий тенор, один, откуда-то из глубины храмовой вселенной.

Потом о. Серафим обо многом рассказал мне, показывая огромное, и в большом порядке, подворье. И прежде всего об этом: Царские врата осеняет старая икона Божьей Матери, написанная на плате, чем и объясняется ее колеблемость, так поразившая меня, в насыщенной свечным гаром, ладаном и молитвами, тьме.

Мне повезло, что о. Серафим (или о. Илья попросил его?) имел немного свободного для меня времени. Он был лучше всяких гидов, когда либо виденных мною в столицах и музеях мира, а я только что из Рима и Афин.

...В конце 13-го века русские монахи из Нагорного Руссика перешли в этот Пантелеймоновский монастырь, основанный валахским господарем Григорием Калимахом. Русские и все славяне жили и уживались вместе с греками. Первым русским ктитором был о. Аникита (князь Ширинский-Шихматов). При архимандрите Макарии монастырь окончательно перешел в русские руки, и ему, а также иеромонаху Иерониму, обязан быстрым расцветом...

Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь — выражаясь по-советски, только филиал Пантелеймоновского... Когда-то были "у нас" подворья с храмами и в Москве, и в Одессе, и в Петербурге, и в Константинополе. Печатали книги, брошюры, свой журнал "Собеседник".

Два пароходика плескались в водах Дафни — к услугам паломников.

И теперь можно видеть типографию — с пятнами давно засохшей типографской краски на реалах — для меня самой яркой и ароматной, даже ароматней афонского ликера, в мире.

Теперь остались только библиотека (15 т. томов), да госпиталь (6 больных восьмидесятников).

О. Серафим как-то неуверенно предложил мне посетить госпиталь, но я отказался. Теперь жалею.

В нижнем храме— собственно Пантелеймоновском —и теперь, как века назад, иногда служат греческие священники.

— Здесь мы сослужили с архиепископом Ярославским и Ростовским, — мягко сказал о. Серафим и повел меня в трапезную.

— Какой он? — спросил я, думая о том, что таков каждый человек "из себя" — легко определить, но "в себе"

— всегда загадка, особенно — такой, легендарной учености...

— Никодим-то? А ничего. Ласковый. Видно, добрый. Велеречивости неслыханной.

Двери в трапезную широкие, как ворота, открыты настеж. Большой и темный зал, длинные столы со скамьями вдоль стен — на 800 мест, а теперь не соберешь и 40 монахов.

На сырых стенах кое-где еще проступают ржавые фрески.

— Здесь они заседали? — О. Серафим легко и точно понимает меня без лишних слов, как могут только монахи.

— Иерархи-то?

— Да уж не знаю, кто они для вас...

— Иерархи есть иерархи, милый. Вся церковная жизнь проникнута иерархичностью. Не бывает лестницы без ступенек... Да, здесь они заседали, или только трапезовали — уж не помню.

Очевидно, когда-то "затрапезный" произносилось с ударением на "а". "Затрапезный какой-то". В трапезную такого не пускали, подкармливали за трапезой. Так артисты, коим не хватало места в отелях Сан-Тропез, весьма небольших и замызганных, мы называли "засантропезными".

Это, конечно, только к слову пришлось. Вот и Милонакоса о. Серафим вспомнил кстати: как раз над трапезной высится колокольня с колоколом, не дающим историку от полицейской службы спокойно спать — уж слишком, говорит, велик сей бронзовый нарушитель полицейского спокойствия.

Постепенно, шаг за шагом — страница за страницей — о. Серафим знакомит меня с творением дремучего греческого шовиниста: "Святая Гора Афон и Славянство". Конечно, Милонакос — не молокосос в истории, но уж слишком он принял на веру хитроумную формулу академика Покровского об опрокинутой, скажем, вверх ногами, истории.

До сих пор из имевших отношение к полиции я встречал

только двух больших писателей: Михаила Зощенко, без году неделю служившего в Угрозыске, и Анри Труайя (Тарасова), бывшего архивного юношу Парижской префектуры.

Милонакос — у него, конечно, было немало свободного времени — благодаря тишайшим старцам, не доставлявшим хлопот. Он так и пишет об Афоне, как о "своеобразной греческой области, живущей своей беспечной жизнью".

Постепенно знакомлюсь с лицом о. Серафима. Теперь оно краснеет и выдвигает на передний план глаза с обиженными искорками, но до полного возмущения не доходит: монашеская припухлость бронирует.

Это денно-и-нощные молитвы и службы в церкви и в кельях, физический изнурительный труд в огородах и садах называются "беспечной жизнью!"

На этом можно было бы и расстаться с Милонакосом, если бы он не затронул вопросы — быть иль не быть справедливости вообще, не говоря уже о совершенно абстрактной для иных политиков, как абстрактная мертвопись, правде. Такие политики о мировых сенсациях узнают вместе с миллионами телевидеслушателей.

Мы уже второй раз проходим под Святыми вратами. Они в трещинах и облуплинах. Похожи на сломанную сургучную печать. Печать исторической несправедливости и ущерба.

И второй раз босоногий и одетый без излишеств монах приветствует нас оживленно- ласково, видно, он приставлен ко вратам, но радость видеть людей у него не приставленная. Его брови — бровищи, как почти у всех монахов, не желают далеко отставать от волос, заплетенных в косички. Косички идут молодым монахам, но и среди греков редко встретить молодое лицо. Словно физический кризис русского монашества на Афоне коснулся и греков, и обернулся для них даже духовным. В православной стране пустеют мо-

настыри. Есть и греческие обители с пятью-шестью монахами.

Дворы чисто подметены, но следы запустенья не стерты с глянцевых, начищенных подошвами плит. Под краном, посреди двора не мешает лишний раз умыться. Какие-то ключи еще бьют здесь..

О. Серафим оставляет меня одного в огромном, с морем в окнах, зале приемов, на втором этаже главного корпуса. Портреты русских царей и князей церкви, картины, репродукции, иконы, свечи, свечи. Стою перед многоликим и многомиллионным русским народным богатством, словно заключенном здесь в тюрьме. Почти удушливый запах старины. Столы, покрытые скатертями, видно, давно не видели ничего застольного. Нет, здесь чего-то нет!.. — Здесь чего-то давно не было. Здесь не было живой и грешной современной России, с ее бедами и победами, и непобедимым православием.

Но сколько во всем и вокруг зоркого внимания к гостям, паломникам и залетным птичкам, вроде меня или...

— Тьен, тьен! — вырывается у меня удивление по-французски. По описанным мною, и оттого, может быть, еще более отполированным, плитам среднего двора шел человек со знакомой и даже распущенной походкой. И темно- монашеский лик не мог меня ввести в заблужденье:

— Милан! — крикнул я в окно и быстро сбежал вниз по вогнутым гранитным ступенькам. Это был Милан.

Милан и всё — враг немцев, Сталина, Тито, всех Римских пап, и некоторых кардиналов, особенно Спельмана, и друг всего Монпарнасса. Но, прежде всего, это был сердечный и отзывчивый брат-славянин.



— Откаде си и зашто си? — Его сухо отороченные морщинками, огромно-печальные глаза уставились на меня непонимающе и почти бессмысленно, как бывало в монпарнас-

ских бдениях, когда я вдруг, неожиданно даже для себя, платил за кофе-ром. Я смутно, вернее, как-то мутно обиделся.

— Что ты смотришь на меня, как баран на новые ворота?

Тем временем мы прошли под старыми воротами к пляжу, если можно назвать узкую, выложенную мелкой галькой и вылизанную мелкой волной полоску.

Что-то изменилось в Милане за три года, как я его не видел. Правда, раньше я не очень-то присматривался к нему Поэт себе и поэт, каких на Монпарнассе не меньше, чем художников, особенно художниц во всех смыслах, бессмыслицах и двусмыслицах. Мы пили одну полуночную чашу, но не всегда и совсем вместе. Мы были приятели, но не друзья — как собеседники, сидящие через одного.

Мы никогда не сидели так рядом, как на этом Афонском берегу.

— Как две рыбешки, — сказал Милан, — только для них это был бы берег смерти.

Нос его, сизоватый, стал еще прямодлиннейней, но главное — глаза. Они стали более уставившиеся в одну точку, и когда эту точку находят на или в моем лице — я не нахожу ни силы ,ни даже помысла хотя бы слегка деликатно соврать, что когда-то мы оба умели делать в бодро-спортивном плане. Его глаза к чему-то приблизились и балканская их чернота просветлела, разбавленная уже почти афонской печальной мудростью. Мне показалось, что в душе я начал смотреть на себя такими же глазами, или, во всяком духовном случае, в их всепрощающем свете.

Мы как-то незаметно свернули с парижских бульваров на более отдаленные дороги и тракты воспоминаний. Милан — бухенвальдский узник, но не любил об этом рассказывать. А тут какой-то очередной процесс а ля Бонн, во всех газетах, но никому из зверей смерть не грозит, и сколько будут сидеть — кто узнает? И он рассказал о детях, убиваемых на глазах родителей. А как лихорадочно потом, в последние

дни работали, чтобы разметать и зарыть следы преступлений: боялись возмездия. Но его, в сущности, так и не последовало.

Открутились немцы, — говорит Милан. — Сталина добровольно поддерживало не более 15% населения, а Гитлера — все 99. Нашей земли захотелось, да еще с рабами впридачу. — Хотел еще что-то сказать, но подошел высокий монах — кости в рясе, — поклонился и сел рядом.

— Не помешаю?

— Ни-ни. Садись, борода. — Не тень-монах, а монах-махина. Молчит, только брови шевелятся, будто молитвы шепчут.

— Тебе, Дарыч, тоже повезло, так что и позавидовать можно. — Монах настораживается бровями, а Милан продолжает:

— На Шпалерной, по 58-ой статье просидел несколько месяцев, а в войну за один месяц две тюрьмы переменил — "Кресты" и Нижегородскую. А не ходи по ночам, когда после десяти запрещается.

Да, я сидел и, вдруг, сидя на Афонском камушке, почувствовал себя блаженно счастливым, или, во всяком воспоминальческом разе, счастливее тех, кто не побывал в этих знаменитых тюрьмах, не попадал, как кур в МУР, хоть на недельку. За что я сидел? За три слова, как девиз всей партийно (пусть не сваливают все на одного) -сталинской судопродукции. Но уж если на то пошло, то больше всего я горжусь послевоенной моей отсидкой в Браунау, в доме, где родился Гитлер, и уж совсем ни за что в квадрате, вернее, в квадратной решетке. В проклятых стенах американцы устроили временную тюрьму и я, правда, сидел временно, быстро выпустили.

Милан, когда не пьян, "чисто" говорит по-русски. Но он всегда был женат на какой-нибудь русской художнице или

портнихе, тоже художнице. Конечно, "женат" — это слишком официально сказано. Что-то привязался ко мне с вопросами.

— А правда, что ты — единственный, оставшийся, в блокаду, в живых из всего Ленинградского института журналистики?

— Ох, из всего... И было-то нас не больше двух десятков. Наш курс на год раньше, из-за войны, сделали выпускным, но война распорядилась с ним по-своему. Мой институт был разгромлен; здание сожжено, профессора и студенты погибли под снарядами или от голода. Горько - смешно читать утверждения некоторых критиков моего романа "Блокада", что Ленинграда немцы почти не бомбили". Несмотря на все мое презрение к этим безответственным пустописам, не пожелал бы им быть на месте осажденных на каком-нибудь 12-ом часу беспрерывной бомбардировки с одновременным артобстрелом. Я эвакуировался с институтом им. Герцена — один из всего ГИЖ-а. Точно знаю, что жива только одна студентка, писательница Антонина Коптяева, и пишет молодцом.

— А правда, что в Париже ты любил перелезать через забор на Сергиевское подворье, когда учился в академии?

— Любить — не любил, но приходилось, когда, за поздним часом, ворота запирались, но выгнали меня все-таки не за то, а "по собственному желанию". Простая формальность. Теперь уже далекие годы. И мой духовник, о. Василий Зеньковский умер. Другого с тех пор не было.

Тут Милан наставительно-упречно покачал головой.

— Жаль, жаль... Преподобный Нил Сорский учит: "Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их. Телесное вождение увядает от исповеди более, чем от поста и бдения..." "Подробно и отчетливо, при помощи исповеди, люди изучают в самих себе падение человека."

...Подымается, вернее опускается, даже сползает оползнем жара-бич святых мест. Я не долго выдерживаю, и погружаюсь в мелкую и теплую нирвану. Байкалу бы такое тепло. Уж раз такие теперь пошли мастера на все атомные руки — установили бы там на дне атомный реактор, что-ли. Пусть какие-то сорта рыб выдохли бы, зато люди бы жили — лучше бы жили, теплее. Атомные реакторы — они всё могут: поднять благосостояние людей и температуру гуманизма, или бросить всё в космоподнюю.

Милан тоже, нехотя и крестясь, входит в воду. Также нехотя выходит. Монах крестится за нас обоих.

Афонский пик, чем ближе к полдню, отодвигается дальше в небо и туманеет, но хорошо виден по всей линии, покладисто-пологой к востоку и гордо вознесенной к западу.

По старой привычке мы с Миланом не могли долго молчать, но каждый раз, когда умолкали, я весь тянулся к отражению в воде: желтые и белые стены, повитые плющем и виноградом, золоченые купола и зеленый шпиль колокольни. Глаза мои совсем остановились: они работали. Они что-то вспоминали, что-то складывали из этих блескотных, мазковых волн, как из прозрачных черепков.

— А, эта чортова кибернетика! — вдруг восклицает Милан. Монах вздрагивает и крестит, кажется, только свой длинный коричневый нос. — Скоро, вместо того, чтобы послать нас куда подальше на словах — будут посылать по радио, а там складывать мой образ по косточкам-приметам. А машины будут писать стихи — не хуже наших... А помнишь последний для Георгия Иванова вечер в Русской консерватории в Париже?.. Все мы читали свои стихи — и ты, и я, и Смоленский, — но куда нам всем было до него!

Хорошо, что никого.
Хорошо, что ничего.
Хорошо, что Бога нет.
Хорошо, что нет России, —

Только звезды голубые,
Да очей любимых свет!

Конечно, все это только поэтическое напрашивание: ведь знает, бедный, что и Бог есть, и, следовательно, Россия, и очей любимых свет у него был в лице жены Ирины Одоевцевой —- вот уж, тоже, кого Бог ничем не обидел — ни красотой, ни талантом... А тебе зачем-то понадобилась Америка. Литературно ты много потерял. В Париже тебе многое улыбалось, в том числе и литературное счастье.

Охотно оправдываюсь: в Америку я приехал туристом, неожиданно решил остаться и нисколько об этом не жалею. Надоело ходить в беженцах под выцветшим эмигрантским флагом. В Америке есть Иммиграционный департамент, но нет эмигрантов. Никто тебе не скажет "саль эгранже" или "ферфлюхтер ауслендер".

— Ты это во Франции слыхал? Бряд ли. После войны, проученная немцами, Европа изменилась. Беда в том, что, проучив других, сами немцы ничему не научились. — С этим я не спорю, и Милан, вместо того, чтобы удовлетворенно замолчать, спрашивает:

— О-кый, как говорили еще древние украинцы, но когда же тебя напечатают по-английски, уж если там всем даны возможности? Мы следим. Мы ждем. Ничего нет.

— И не надо, — сказал монах. — Зачем? не выдвигайтесь, не выдвигайтесь.

Пораженный и даже немного испуганный такой категорической интервенцией, я ничего не сказал. А то бы мог — хотя бы о том, что европейцы, никогда не бывавшие в Америке, всё о ней знают наперед, а я вот проехал ее вдоль и поперек, но обо многом, особенно о налоговой системе, не имею понятия. Но она, как раз, вошла первым номером в мои основные, не без шутки, американские впечатления, которыми делюсь с Миланом, а теперь уж и с монахом-махиной — слушает с угрожающей сосредоточенностью:

1. Наголоплательщики.

2. Угробства через удобства.

3. Время — деньги, потому что его вечно ни на что не хватает.

4. Американцы любят зарабатывать деньги, но с такой же, если не большей, страстью, любят их тратить.

5. Каждый день без работы считается потерей.

6. В провинции на улицах всё валяется: игрушки, велосипеды, иногда пьяные, и вокруг них хороводятся полицейские, всячески уговаривают и улещают, вместо того, чтобы дать леща.

7. Если муж и жена работают в разных концах города — у каждого нередко свой, не обязательно новый автомобиль.

8. Дом без центрального отопления считается нежилым.

9. Мужчины перед женщинами почти бесправны.

10. Женщины, как правило, перекрашиваются и переигрывают.

11. Кабаки — мрачнейшие в мире.

12. К магнату деньги идут, как к магниту.

Кстати, хочу взять патент на изобретение центрального, на дому, потребления всех напитков; в каждом доме, рядом (или не рядом) с кранами горячей и холодной воды — краны пива,вина, кваса (обязательно внедрить в Америке квас, иначе откуда же взяться патриотизму?) и всяких кококолокольных напитков.

Вообще, с переездом в Америку, вместо писать романы, начал изобретать. Например, чем не идея — конфетти в асфальте. Этакий вечно-карнавальный пол под ногами большого города. Или открыть по ресторану на быках моста Вашингтона. Да мало ли еще что можно придумать, имея поэтическую голову на плечах!.. Но беда в том, что голова-то нужна капиталистическая.

— А почему, все-таки, американские миллионеры платят меньший налог, чем рабочие?

На такой вопрос я все равно бы не смог ответить, да еще монах спросил, густо вздохнув всей бородой (приподнялась на груди), а не Милан.

— Нашел у кого спрашивать, отец Петр! Не видишь — он еще не американец, — проворчал Милан, и я воспользовался, не пустился в объяснения путаного для меня прогрессивного, как паралич, налога.

Монах с Миланом, видно, давно знакомы, у них какие-то свои дела. Как бы и вправду не затевал Милан последнюю "аферу" своей жизни — в высших сферах бытия.

Но только на следующий день посчастливилось мне быть единственным свидетелем, правда, с порывистым участием моего темперамента, диспута Милан-Милонакос.

— Ведь что вы утверждаете? — кричал Милан на Милонакоса в довольно опрятной снаружи обложке: "На Святой горе Афон сталкивается еще раз в истории греческий дух с чудовищной по размерам и механически сооруженной громадой панславизма..." Какое, действительно, механическое нагромождение громких слов на тихое помешательство дремучего невежества... Оказывается, это совсем не с турками, с которыми греки до сих пор на ножах, а с гей- или гой-славянами сталкивается Афон. И почему еще раз? Верно, когда-то в безбожно далеком, варварском прошлом Афон блокировали дикие славянские племена, да и сам Царьград трепетал перед ними и не успевал откупаться — простим нашим буйным предкам! Но князь Святослав, отец Владимира святого, идол своей дружины, автор весь мир облетевшего "Иду на вы!" — об Афоне не имел понятия, не брал его ни приступом, ни блокадой. А теперь это столкновение такой силы, что трещат и рушатся почему-то только стены славянских монастырей, а на имущество умирающих и вымирающих славянских монахов накладывается беззаконная эллинская печать.

Нет, не пан-невежество автора, не его жандармское рвение, а беспокойство, вызванное, якобы, "непрекращающейся

(и теперь! А. Д.) угрозой захвата Афона славянами вызвало накропание сего печатного выпада, выпадающего из рамок не только международной, но чисто человеческой совести.

От нечего — в афонской тиши — делать, "историк" путает времена и события, как коммерсант — цены в мелочных афинских лавках. Иверцев и грузин он считает разными нациями; крестит своим незадачливым пером бедную Русь на сто лет раньше — при Рюрике, с его, к тому же, весьма сомнительным историческим прошлым.

И с каких это пор "чудовищное по размерам" славянство стало "механически сооруженной громадой"? Панславизма на деле не было и нет, а если бы и случился — что в том греховно-механического? Язык, обычаи, физический тип, вера православная (за исключением поляков, и то не всех) — почти одни, на завидное удивление всей так называемой индо-европейской расы, притянутой учеными за европейские волосы и индийские ноги. Может быть, единственный по-настоящему индо-европейский народ — венгры. Из потерянного и забытого далека они принесли с собой Буду с одним "Д" и взяли славянский Пест...

Тут Милан заметил, что это его собственная еще не идея, но уже выдумка. И что о его теперешнем религиозном состоянии можно сказать; это еще не полная вера, но уже покой, безразличие к земным неблагам перед Лицом Всеблагого.

— Ты, Милан, умница, но тоже не выдвигайся, не выдвигайся, а помалкивай больше, оно и лучше будет. — О. Петр говорит не в нос, а словно самим носом, и покачивает им клювно, внушительным. Не будь сей нос таким, в лице монаха желтело бы что-то китайское, через татарское.

Милан улыбался.

— Обратись о. Петр в язычника — стал бы оракулом нестой Афоса, или, на худой современный конец — каким-нибудь **пример-министром**.

Я уже привык к лицу, почти лику о. Петра. Такое сколько ни описывай — не передашь, слишком одухотворенное, и может преследовать, как простенькие стихи, вроде есенинских, с неуловимым для эстетов духовным ключиком.

Но Милан продолжает.

Беспокойство Милонакоса за Афон с многомиллионным чужим, главным образом русским, богатством так велико, что он даже турецкое иго считает менее пагубным, чем угроза панславизма. как будто кем-то уже поставлена на него ставка и он сгущается в пан-- или пропал-славизм. Политика турок, топтавших греческую землю 460 лет, считается "миролюбивой", несмотря на то, что вселенский патриарх Григорий был повешен, и все монастыри были бы сравнены с землей, если бы не вмешательство русского царя. Конечно, среди умученных турками монахов немало и русских (Павел, Пахомий, Константин, Никита и др.), но отношение турок к русским монастырям было куда справедливее, чем греческих властей... А во что превратились дороги после турок! Теперь их просто нет. Если организованные ослики забастуют — без геликоптеров не обойтись. Тогда американцы придут на помощь. Теперь все малые страны живут в полной уверенности за завтрашний день: не Россия, так Америка, не рубль, так доллар.

С нескрываемой гордостью автор пишет о греках, занимавших важные посты при султанах. Нашел, чем гордиться! Русские князья, за редким исключением, не якшались с татарами. Греческий патриот Иоанн Каподистрия с 1809г. перешел на русскую службу и с 1815 по 1822 год был вторым статс-секретарем по иностранным делам России, но он Милонакосу, кажется, не пришелся по душе, а ведь никто другой, как он, по поручению императора Александра, послал предупреждение султану — не трогать Афона, и султан отступил.

Опасливо оглядываясь на призрак "громады панславизма", не имеющий никаких фактических очертаний, автор

"грошшюры" (от слова грош) совсем забыл о латинянах, об их святейших посещениях Афона. Зато не забыл о них инок Хиландарского монастыря, очевидец событий, Даниил: "Страшно было видеть запустение Святой горы" — пишет он. Громил Афон за "ересь" папа Иннокентий III, дограмливал Урбан 4-й; в 1280 вотопедские монахи были повешены, карейские — изрублены, иверские — потоплены в море; а в Зографском монастыре 26 иноков сожжены заживо в монастырской башне...

Возвращаясь к туркам, к которым и грекам еще не раз придется вернуться, напомним 1821 год, когда, спасаясь от " миролюбивой политики" султана Мухамеда, кажется, 2-го, монахи разбежались по горам всего Пелопонеса; а в 1830 г. старец Парфений, возвращаясь из России на Афон, долго не мог отыскать Ильинский скит — все дороги и тропы заросли лесом.

Это было последнее, перед теперешним, запустение Афона.

Далее — чего только не нагородил "историк" неистовый и неистинный! То колокол Пантелеймоновского монастыря, этот красавец Царь-колокол афонский, ему не нравится, то благотворительность при царе имела, по его убогому убеждению, "захватнический" характер!.. Обитель Успения Пресвятой Богородицы, основанная в 5 веке, "почему-то" стала называться уже тогда русской, без объяснения, специально для Милонакоса, причин. Так, ни с того, ни с сего, греки назвали обитель русской. Пантелеймоновский монастырь тоже сто лет — как раз во время русско-турецких войн — был в греческих руках, но продолжал называться, на зло Милонакосу, русским.

Или русский посол, граф Игнатьев, посмел назвать греков возчиками. Очевидно, имелись в виду афонские греки, занимавшиеся ослиным извозом, так что же здесь оскорбительного? Вот и Борис Зайцев в афонском очерке пишет:

"У пристани толпились греки с ослами..." Не сказал же он "ослы с греками".

— А насчет возчиков и перевозчиков, — прервал я Милана, — так в Америке это один из богатейших рабочих синдикатов, так и называются, официально и с гордостью, возчиками. И назови их как хочешь, но попробуй недоплатить хотя бы 1 цент — эти возчики сами на вас поедут. Погодите, — скоро они будут возить не больше 4-х дней в неделю и таким образом подвезут нас к вратам нового общества, к которому я зову всё человечество: это будет комкап (или капком) — строй коммунистический по форме и капиталистический по содержанию.

А сколько чистильщиков обуви в Афинах! Как их назвать иначе? Чем больше пыли, тем больше любят столичные греки чистить обувь, даже опорки, как опору человеческого достоинства.

А на Афоне сейчас никто не толпится, европейский турист никогда не заменит паломника из России, но без греков с ослами не обойдешься, потому что русским даже осликов доверить нельзя, стары.

... Всё это только милонаковские цветочки, а ягодки — маслины впереди. Брезгливости ради, остановимся только на одной. На 2-ой странице Милонакос казенно отмечает, что победа в Балканской войне "имеет своим последствием присоединение Святой горы, как неотъемлемой части, к Греции."

— Шалишь! — кричит в книжку Милан на Милонакоса. — Последствием, да, но весьма отдаленным. По Бухарестскому международному статуту, все заинтересованные в Афоне славянские страны должны были учредить на полуострове свою полицию. Первая мировая война помешала этому. И только в 1926 году греческое правительство, не считаясь ни с какими договорами (в Сан-Стефано — 19.2. 1878, Берлинский трактат — 13. 8. 1878 и Лозаннский дого-

вор, § 13) — объявило Афон греческой территорией. Следуя по еще не остывшим турецким стопам, одновременно все афонские монахи были "огречены" без их на то спроса и благословения. Что спрашивать огорченных русских монахов, когда за их спиной нет России заступницы.

— Радуясь освобождению от турок, почему вы, Милонакос, не сказали даже спасибо России? — гневно спрашивает Милан, но Милонакос, не обращая на него внимания, продолжает утверждать на стр. 70, что Россия тут не при чем, что Греция освободилась только благодаря европейскому вмешательству.

Тогда Милан не выдерживает и "выражается" по-сербски. Еще бы! Россия потеряла в войне с Турцией (с апреля 1828 по 14. 9. 1829) — 200.000 солдат! По тем временам это огромные потери. Очевидно, наш "историк" не знает, что все население Греции тогда не превышало 200.000... Если, даже не будучи русским, считать человека за самое дорогое на земле, то, спрашивается, стоила ли вся Греция этих потерь, уже не говоря о "благодарности" господ Милонакосов.

Оправдание Милонакосу может быть только одно, хотя он его не стоит: может быть, Россия должна была это сделать — в счет мистического долга перед народом, принесшим ей свет христианства. Перед народом, но не перед Милонакосами!



Россия воевала с Турцией одна, подошла почти к вратам Константинополя и по Адрианопольскому миру Греция стала самостоятельной. Но Афон еще остался турецким, с выговоренным правом для всех монахов жить там. Что же считается "европейским вмешательством"? Очевидно, прежде всего то, что не дало России войти в Константинополь! Конечно, Милонакос имеет в виду знаменитый Нава-

ринский бой в юго-западной бухте Пелопонесского полуострова (Морея). 8. 10. 1827 г. там встретились союзные эскадры — англо-французские и русская с одной стороны и турецко-египетская с другой. Главная тяжесть боя пала на русскую эскадру, и корабль "Азов" с командующим М. П. Лазаревым прославился на весь тогдашний военно-морской мир. "Европейским вмешательством" была и Крымская война, с прямым участием Турции, Европа предпочла бы вечное рабство Греции — разгрому Турции Россией, усилению северной империи.

Странно, между прочим, что греческие исследователи и их довольно беспристрастные русские оппоненты не упоминают о большом морском сражении, так называемом Афонским (1. 7. 1807). Еще тогда, вблизи Афонского мыса, русская эскадра адмирала Синявина образцово — потому, что бой стал образцом военно-морского искусства парусного флота, — разгромила флот Саид-Али.

Символично и неслучайно.

Неслучайно также, что в ноябре 1913 г. греческий десант под командованием Георгия Панагеоргиу высадился на Афоне в Дафни, вблизи русского Пантелеймоновского монастыря. Несколько турецких чиновников с сотней солдат сдались без боя. Герой был торжественно встречен братией монастыря по русскому обычаю с хоругвями и колокольным звоном. Он благодарил русских монахов и в их лице Россию за ее помощь малым Балканским странам в победе над турками.

— Человек имел благодарность в сердце, — заметил о. Петр, крестя нос и нас.

— Да, ископаемое в наш век чувство, — сказал Милан. — Вспоминаю генерала Леклерка. Союзники пустили его впереди себя, и многие средние французы до сих пор считают его освободителем Парижа. Правда, это был отличный французский генерал, каким-то чудом сумевший сохранить

свою дивизию в песках Африки. Но ведь сама она, на весах сражения, была песчинкой, не способной даже засорить тевтонский глаз.

Мы все читаем и перечитываем, в полиглотской милановской интерпретации, и чертыхаемся, а монах помалкивает, но, услышав, что "освобождение Афона от турок как громом поразило Россию", — встал.

— Разрази тя самого гром, прости меня, Господи! — и ушел, как от греха подальше, или поспешил на службу.

Читать дальше становилось невмоготу, или мазохизмом. Милан встал и бросил Милонакоса в море — не размахиваясь, а с кистевым вывертом: это должно было означать жест полного презренья.

Мы еще долго сидим на берегу, еще купаемся и ходим по самой хрусткой кромке мельчайшей гальки, намытой морем.

Есть ли смысл спорить с шовинистами всех мастей и что-то им доказывать? Ну, что с того, что мы напомним им о сотнях тысяч греков, веками живших в России с обычными для всех иностранцев привилегиями? Что греки занимали высокие посты в царском правительстве? Они и у турок играли первую скрипку — в те времена, когда народные греческие песни переполнялись монотонной и заунывной печалью не от хорошей жизни под турецкой пятой.

Что из того, что земля для постройки русских монастырей была куплена у греческих монастырей за деньги, собранные самым многомиллионным жертвователем на земле — русским народом... И все монастыри строились мозолистыми руками русских монахов. О. Константин, донской казак, оставив ратные подвиги, приехал на Афон и на свои деньги выстроил обитель Св. Иоанна Златоустого.

В обители Св. Артемия хранится икона резной работы из слоновой кости и пальмового дерева — 12 лет корпения мастера-инока! Оценивалась она знатоками, по тем экономи-

чески-добродушным временам (1913 г.) — в 7000 р.

Только один схимник Игнатий собрал на постройку Св. Ильинского собора и передал через Константинопольскую императорскую миссию 13.800. А сколько трудов было положено на возделывание, хотя бы виноградника. и виноград получился вкусный, и вино — крепкое. Я там был, и вино то пил.

Находящаяся в этом скиту икона Тихвинской Божьей Матери — точная копия (снимок) с подлинной, пожертвована купцом М. А. Вьюшиным. На ней сребро-позлащенная риза, сделанная благотворителем скита Н. В. Лепешкиным. Икона украшена многочисленными драгоценными камнями.

Сколько неоцененных сокровищ, святынь, мощей и реликвий в русских и славянских храмах на Афоне! Вряд ли найдутся на земле деньги, за которые можно было бы их купить.

Поэтому греческое правительство решило, видно, их прибрать к своим рукам простейшим способом: подождать, пока монахи не вымрут. А чтобы не было пополнения в святейших рядах, игумнов русских монастырей лишили права принимать новых монахов.

Этим решением были нарушены постановления всех конференций об Афоне, в том числе последних — Севрского договора 1920 г. и Лозаннской конференции 1923 г., где снова, в который раз, было записано: "Греция обязуется признать и сохранить в силе традиционные права и ту свободу, которой пользуются не-греческие монастырские общины Св. горы Афонской". Теперь не хватает только Вашингтонской и Московской конференции. И напрасно греки так самоуверенны. Еще возможны самые неожиданные конференции. Не может быть, чтобы у славянских монахов не нашлось заступников на земле прежде, чем им останется уповать только на Единственную свою Заступницу. А пока что попраны не только нравственные права, но и юридические. Афонские

сокровища — имущество не одних купцов или бывших русских капиталистов, но всего русского народа там и здесь, и не может перестать быть русским, если русских монахов доведут (уже почти довели) до полного вымирания.

Преступление право правящих, попущение Господнее — запустение Афонское...

Уж если даже освобождение от турок приписывается только "европейскому вмешательству", то кто же теперь вспомнит, сколь помогала Россия греческим монастырям? Еще со времен тишайшего царя Алексея Михайловича, когда он подарил греческим афонским монахам в Москве целый монастырь Никольский, названный Греческим (тоже "почему-то"?), — монастыри Костамонит, Иверский и другие получили щедрые подарки от русских; скит "Черный Вир", Зографского монастыря, был основан на деньги императрицы Елизаветы Петровны в 1747 г.; монастырь Симоно-Петра после пожара в 1891 г. заново отстроен исключительно на пожертвования из России.

Какое-то безбожно запоздалое движение все-таки произошло, но с какой казуистикой! Не так давно разрешен — после 30-летнего запрета — прием новых монахов в негреческие монастыри. За эти годы от сотен монахов остались единицы, поредела и сама эмиграция, и жажда духовного подвига в ней почти иссякла. Но это обще-мировое явление, оттого и греческие монастыри, хотя и с выкрашенными ставнями, тоже пустуют.

Да, сделан, наконец, какой-то робкий шаг к справедливости. Но сколько установлено непроходимо-глупых рогаток! Пройти их не смогли бы даже такие отцы церкви, как Василий Великий, потому что он не был православным от рождения, как требуется. Апостола Павла постигла бы та же участь, не взирая на то интересное обстоятельство, что он дважды побывал на Афоне, задолго до теперешних установлений греческих правителей, и оба раза потерпел "внешние

гонения и внутренние страхи“, о чем пишет во втором Послании к коринфянам.

Визу на Афон иностранцу, если он православный, получить не так просто, часто ждут месяцами. Я каким-то чудом получил с непостижимой быстротой. Да и сама по себе виза — зачем и почему? Факт сей бумажки с печатями оскорбителен. В Ватикан пускают без виз. Правда, охраны на Афоне нет никакой, ни даже пожарной или санитарной.

— Что можно сказать, после всех этих ягодок, о самом Милонакосе? — спрашивает Милан, и я быстро по-монпарнасски отвечаю:

— Что он — фрукт. — Милан согласно кивает.

— И какой! Он же, в специальной главе "Несправедливости и недоразумения“ упрекает русскую эмиграцию в несправедливых нападках и осуждениях греческой политики и самих греческих монахов. Да, и монахов, и в этом нет ничего удивительного. Теперь нет святых среди живых.

Нас упрекают в "механической громаде“, и что наши дикие предки пошаливали в византийских пределах. А что с них взять, с некрещенных кочевников, именуемых от греков варварами и скифами? Мы же предъявляем законные требования к культурной стране, к тому же единственно православной в западном, от многого свободном, мире. Видно, у малых сих государств — уважение только к силе и презрение к слабым или ослабевшим, будь то недавние колонизаторы, но так им и надо, или союзники, или судьбой гонимые эмигранты.

Если папу Пия 12, бывшего нунция в Германии, привыкшего к немецкому окружению, обвиняют в том, что он ничего не сделал для евреев и других, миллионами гибнущих в немецких концлагерях (ведь после евреев больше всего погибло славян, но о них как-то забыли), то мы вправе обвинить Вселенского Патриарха Афиногора в том, что он ничего не делает для спасения Афона. Он совершенно игнори-

ровал и трагедию русской эмиграции, обездоленной во всех странах, кроме Америки. Понятно, почему в некоторых эмигрантских церквах не упоминается его имя.

... Видя, что Милан сел на своего конька и разговору о папе и Патриархе не будет конца, я спросил, почему упрекают греческих монахов, они-то в чем провинились?

— Погоди, дойдет и до них очередь. Дай мне еще сказать против единственного в мире православного монарха, который тоже на Афон не обращает внимания, но кроме того морит в заключении тысячи "коммунистов", из которых настоящих не более десяти. Давно бы пора дать амнистию — только теперь о ней заговорили. Если допустить, что сталинские концлагери для политических срыты, то православное царство-государство являет собою незавидный пример... А о монахах греческих — еще в истории Св.-Ильинского монастыря вскользь и с прискорбием упоминается, что со времени закладки нового храма великой княгиней Александрой Петровной, в 1881 г., греки "сильно восстали" на русских из зависти и боязни, что их хотят вытеснить. Что греческие монастыри, особенно штатные, вырубают у себя лучший строевой лес и продают жителям соседних островов, несмотря на то, что это строжайше запрещено древними узаконениями Афона.

В 1839 г. начальствующие Паптократорского монастыря отняли (каким образом — неизвестно) у Св.-Ильинского скита драгоценные исторические документы: султанский фирман об освобождении от налогов, грамоту византийского императора Никифора Фоки, грамоту Константинопольского Патриарха Иеремии.

О строителе Св.-Ильинского храма архимандрите Гаврииле историк пишет: "Много горя и усилий ему стоило, пока он, ведя упорную борьбу с эпитропами греческого монастыря Пантократора, достиг того, что выхлопотал разрешение производить новые постройки."

Милан достал из кармана листок со знакомым мне клише семиглавого гиганта-отшельника.

— Читай, и считай заключением этой гиблой темы. Можешь взять и всем там показывать хоть в обеих Америках.

В трагическом обращении о. Николая, с которым я так недавно расстался, "ко всем православным русским людям, в рассеянии сущим", я прочел между прочими смиренными фразами: "В настоящее время Святая гора переживает великие бедствия. Беда наша в том, что после первой мировой войны прекратился доступ на Афон иноков, и теперь мы имеем великое оскудение в людях... Калики и каливы остаются пустыми и по мере вымирания монахов, отходят, как выморочное имущество, в чужие руки, и разрушаются..."

Я прячу листок. Если когда нибудь мне удастся написать об Афоне — он будет главным толчком.

Так и случилось. Послужил. А теперь, когда очерк (или — не знаю, что) закончен, и осталось только перепечатать его, т.е. заново переделать, на машинке, — получил письмо от о. Николая...

Март. Сиракузы завалило снегом, и почему "вдруг", когда это обычное противное атмосферное явление, а архимандрит Николай сообщает мне о теплом солнышке на благословенной и преданной людьми Святой горе. А еще "...в январе сего года к горечи нашей отошли ко Господу двое наших 80-летних старца, монахи — иеромонах Алексий и иеродиакон Никодим. Теперь нас осталось в обители всего лишь четыре старца под 80 лет и старше. В таком положении мы не можем долго просуществовать..."

Как ошибся А. Павловский, составитель путеводителя по Афону (1913 г.): "... келии. находящиеся в русских руках, могут остаться вечно русским достоянием..."

Не только к келиям — тут уже к монастырям подбираются время и чужие руки.

Мы с Миланом почему-то долго, будто принудительно,

молчали. Чистые, незахваченные ветром облака порозовели на западе. Скоро начнется закат. Для афонского прозелита (прозрелита) это большое событие — душа, подобно солнцу, сливается с морем и небом.

Закат понастроит воздушных замков — днем таких не увидишь! — но вместе с солнцем они канут в море. Такова и судьба целых народов и государств: расцветать в закате, и рушиться, и только блестки да осколки красоты остаются. Египет, Китай, Греция, Рим, Европа... Вернуться можно только к первобытному хаосу, но к прежнему величию — никогда. Ничего ни у кого не вышло и не выйдет. Пал Третий Райх с Гитлером, а с ним и новая Италия с Муссолини, и у де Голля великой Франции что-то не получается. До него летели кабинеты, но политика осталась неизменной, теперь один де Голль pour toujours, — и ничего постоянного, но тем интереснее! И "желтая опасность" пугает простодушный мир больше цветом и количеством. Если же она станет желтым нацизмом — ее ждет немецкая участь, и в крайнем случае Россия снова объединится с Америкой. "Мир знает три чуда, — сказал Поль Валери, — Грецию, Рим и русский 19-ый век." Тот самый, блоковский, "железный, жестокий, беспощадный век". Поэт ничего не успел сказать о 20-м, его задушившем... Огромная русская империя рухнула, не достигнув расцвета. Высшие классы одряхлели, царский двор онемечился, а купечество еще не успело встать во весь свой богатырский рост, и этот разрыв заполнился неслучайной и фатальной для всего мира революцией. Старая Россия уступила место новой. Жестокий ее опыт всем известен.

Сегодня два гиганта стоят друг против друга, готовые на все, а делить им, в сущности нечего. Америка защищает свободу, не исключающую порядка, СССР насаждает порядок, исключающий свободу, — во всяком случае до того, пока не будет — жди его! — построен коммунизм на всем земном шаре и его теперь уже досягаемых окрестностях.

... Вечер, как из-под земли, раскладывает полоски теней по краям горизонта.

Ослепительные дни, осиянные ночи!.. Как жаль, что вас было так мало. Но и тем я счастлив и умиротворен. И все мое крах-путешествие кажется крохотным недоразумением, даже, я бы сказал, чем краше в смысле краха — тем лучше. Я посоветовал бы всем русским писателям — советским и антисоветским, или просто русским, но особенно — эмигрантским! — побывать на Афоне. Ведь их так мало... Пожалуй, меньше, чем монахов. Получив вожделенную — безо всяких вождей — свободу, они не имеют свободного времени. Кто не работает — тот не ест, а кто работает — тот не пишет. На малейший литпустячок уходят долгие месяцы. Некоторые годами пишут и целыми жизнями не печатаются. Счастливчикам же, вышедшим в свет одной-двумя книгами, не делается никакой рекламы, а ведь современный писатель, как никогда, "продукт" своей эпохи. Если его, как спички-табак, не рекламируют, это все равно, что его нет, что он умер, да и в самом деле, может спокойно умирать. А как выходят наши книги! Любая позавидует перво-"Апостолу" (1563), отпечатанному за 10 месяцев.

Но, все-таки, брат-писатель, если попадешь на Афон, не забудь записную книжку. Не верь Паустовскому, что это не обязательно. Потом всегда все вспоминается в перевранном свете. Да и неповторимость впечатлений — сама по себе талант, заменить ее памятью или вдохновенными воспоминаниями невозможно.

Но, путешествие, предупреждаю, не будет сплошным алкиноем.

...Ночь ложится сразу, тяжело и пышно, вздымая брызги звезд над морем, потом они зажигаются и над землей, как росинки на лугу, и не успевают занять свои извечные места, как всходит луна. Сегодня она не такая красная, как вчера, отдает бронзой. Будто колокол самого Господа Бога под-

весили над землей. Вот он ударит к заутрене — и все звезды склонятся отраженно.

Стало еще осиянней и тише. Но и раньше только вода шелохтела, а колокольные звоны не в счет, уютно-привычные, как бой стенных часов.

Скромно и сытно ужинаем, запиваем отличным монастырским вином-красным из прошлогодних запасов. Аппетит мой на Афоне не оставляет ни желать лучшего, ни меня в покое. Милан идет в церковь, а я, вконец усталый, спать. Завтра — впрочем, по восточному времени, уже сегодня — я пойду еще на литургию, взгляну на удивительнейшую в мире икону, столь чудотворную для моего воображения, потом выйду в тихое и ясное, еще одно мое на Афоне утро, под небо голубое, и в тишину иконописную...



И я увидел ее снова надо мной, над моей детской верою и взрослым недоверием, надо всей моей жизнью в трех измерениях: Россия, Европа, Америка, причем Мартиника отдельно, мой любимый, почти единственный теперь в усыхающем океане колониализма островок.

Я понял этот сферический секрет: будто за прозрачной вуалью просвечивает массивная серебряная икона. Но ее нет! Ничего нет за этим воздушным образом, написанным на вечно колеблющемся плате, кроме сотен лет бастиона православия — Афона.

О. Петр ожидал меня у выхода, во дворе, на потрескавшихся плитах, перебирал четки. Его руки будто вылеплены из коричневого и засушенного воска, и пальцы мелькают, как сегменты сломанной тонкой свечи... Когда он умрет, его зароют в землю по восточному обряду — без гроба, в холстине. Через 3-4 года отроют, и если будет "готов", т. е. не кожа да кости, как сейчас, а только кости — возьмут череп,

напишут на нем "Петр" и положат с другими, сто-триста и тысячелетними, похожими на большие кокосовые орехи. В каждом монастыре есть свое хранилище, скажем, черепотека.

Но о. Петр пока жив, и еще как! — сегодня не на шутку разгорчив.

— Вишь, травища-то какая вихрастая. А толку что? Сухая. И на небе опять ни облачка. Хоть бы редкий дождь-листобой прошлепал, пыль прибил. Но грех Бога гневить, роса на нас обильная падает. А зимой-то снег редко до земли достигает. Только на небе выпадает, Афон-батюшку прикроет, и то-дивно-бело, умиляет, Россия вспоминается...

И теперь алебастрово белый пик, а в зимней шапке, наверно, ослепительный. И вспоминаю русский, ярославский, но больше питерский снег-быстро-сверкательный, словно искры от звезд.

Прошло немало времени и шагов, пока я приноровился к разговорному с о. Петром потоку: ему надо накричать в ухо несколько тем сразу — он и заговорит, и завосклицает, и зашепчет.

— Царя бы нам, царя бы нам Николая Последнего... Он бы нас никому не дал в обиду, н-но! Куда там! Кто бы посмел против русского царя?! Когда басурманы целой агромадной флотилией приблизились к Афону-да, к самому Афону, чтобы, значит, изничтожить, кто возвысил свой голос? Наш царь сказал: "Остановитесь, басурманы, пока я на вас флот почище не послал, ибо я есть царь не какой-нибудь, а царь православный, а сие что означает? Что я защитник не токмо русских, но и греков, и всех православных! Остановились. Повернули восвояси... А нынешние-то — на нас им наплевать, да и мы за них не очень-то молимся. Хотя никто не имеет права думать, что, например, у Хруща нет сердца. Вполне может быть — оказаться сердце-то у него, грешного.

— О чем витием? — Милан подошел откуда-то, неизвестно откуда, но мне показалось, что из этого жидкого зер-

кала. Он подошел легкой монашеской стопой и к тому же в апостольских шлепанцах. Приветливо просветлел коричневым лицом под своевременной сединой. Седина! Тебя мне не хватает. Но еще не надоела запоздалая молодость — реванш за годы войны и послевоенные лишения...

— О Хрущеве?

— На главный, немыслимый для коммунистов всего мира риск он сходил — Сталина из мавзолея выкинул, только что из пушки им не выпалил. Хватит ли у него пороху против китайцев и своих "азиатов"? Что-то в нем есть. Сам я крестьянский сын, и крестьянин во мне никогда не умрет. В войну, бывало, сколько видел сожженных городов. А испепеленная деревушка какая-нибудь печалила до слез, будто сама земля сгорела...

Мы долго говорим "о времени и о себе", больше о себе прошлых, полных тревожных и манящих отсветов ночного Парижа. Мне всегда нравилась миланова манера говорить запутанно-неспокойно, грустно-глуховатым голосом задушевнейшего тембра, а теперь казалось, что некоторые слова его выговариваются сначала в сердце, а потом слетают с языка. Он остался, каким был — на дню семь политических пятниц и несколько программ: монархическая, анархическая, социалистическая, христианско-коммунистическая. И еще многое зависело от политической окраски очередной подруги жизни. Все-таки, Милан не любил менять женщин. Они меняли его.

Так или иначе, мыслящий и бодрствующий по ночам, Монпарнасс, никак не мог бы представить себе Милана монахом, или, разве что на полотне одной из его "абстрактных" подруг, где были бы тощие облака, кресты из веточек, пятна пустые и пятна заполненные грязной краской, но Милана все равно не было бы. Он бы подразумевался.

— Помнишь, Милан, кто-то из нас пустил шутку: "В Ротонде два эмигранта подрались — не поделили воспоминания". У нас тоже есть, что делить...

— Как не помнить. Вот, уедешь, а я еще останусь на какое-то неопределенно вечное время, и буду долго видеть на этом миражном берегу тысячелетнего православия — две странные фигуры: ты и отец Петр — кащейственная и кощунственная.

— Не обижаюсь, видно, уже намонпарнасился монастырским-то, прошлогоднего виноградного удоя.

— И я не обижаюсь... "Бордосское" — говорили ваши, они же наши, классики. А мы пили просто бодрящее "бордо". А что это у тебя?

Я захватил с собой из Женевы и Парижа несколько "Огоньков". Последние годы в "Огоньке" начало что-то мерцать. Это еще не короленковские огни, но все-таки... Только надо уметь читать, как советует всем, особенно пописывающим дамам, Юр. Большухин. Но, как же надо уметь писать!

Ни к кому из советских писателей я не питаю зла, как зло не питает эти строки. О, даже великие писатели (там есть!) могут только позавидовать нам, и маленькому по сравнению с ними — мне, что душа моя вырвалась на простор, случайно, а может быть, и нет. Ведь почему-то с детства твердил слова поэта — и они вошли в душу, как свои, и оказались вещими:

"Я вас бежал, отечески края".

Теперь понимаю, что вместе с этой строчкой я всю жизнь носил в себе поэтический страх перед божественным словом, которое мстит, наказывает и исполняется!

Я знавал в Париже почти всех великих и малых писателей-эмигрантов. Сердца их так и оставались биться в грудной клетке России.

Если бы русским вдолбили в голову, как немцам, что они выше всех, — это, действительно, был бы конец привычного нам мира на земле. Так же и американцам — не дай Бог, если начнут расисты всех мастей убеждать их в вышестоящести. Одна страна никогда не будет править миром, но

разрушить его может, а две — куда ни шло, может быть, сосуществуют.

Милан просматривает журналы, и о. Петр зашевелил бровями, вперился. И я с ним. Накупил, а времени читать не было.

... Снова что-то начали вспоминать прошлую войну. Приближается двадцатилетие. Пора пройти по русским полям невиданных сражений — с пером и кистью, и с сердцем наперевес. Ведь мы почти никак не почтили память героев, завоевавших только полпобеды, потому что другая половина отнята партией.

— Двадцать лет — срок критический, — говорит Милан. Если бы не восточный блок — западный мир уже снова не раз передрался бы, скачок на Египет тому пример. Что остановило? Ультиматум Хруща и американское вмешательство. А пока что — равновесие.

— Да, равновесие, — говорю я. — Борьба двух начал, которая приведет к одному концу.

— Или к комкапу? Расшифруем: комкап — коммунистический капитализм или коммунистический капкан. А что такое колхоз? Никто еще так не определил, как я: кол, вбитый в хозяйство!.. Ах, молодец!

Это Милан о писателе В. Солоухине. Читает вслух: "О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия, мой Зимний дворец и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.". И все это — по ничтожному поводу потрошения тумбочки с провизией студента — скопидома.

Милан читает на свой вкус, разное из разного, а мы смиренно слушаем, но его выбор — и мой.

" — Вот ты мне скажи, великий гуманист", — спрашивает один герой другого в рассказе А. Калинина "Запретная

зона“, — ”поймут ли нас и оправдают ли наши дети и внуки?“

В ”Первом снеге“ Олег Смирнов, автор, говорит‘ ”В том, что случилось с Багириным, люди не виноваты.“ Понятно, кто виноват, что человек просидел в концлагере ни за что десяток лет.

— Люди не виноваты... Святая правда! — восклицает монах.

Что бы он сказал, если бы услышал, что кардинал Спельман окрестил весь русский народ — ”народом-убийцей“.

А рассказ Евгения Шатько — ”Заботы“!.. Редчайший по точности и скупости языка. Он щедро подбрасывает нам тему за темой, одна другой важнее и настойчивее до немедленной неоткладываемости. “... Директор (школы — А. Д.) задремывает и видит лица сразу всех Куклиных: дедушки, Валентины, маленьких... Они сливаются в одно лицо, одни серьезные, громадные глаза, которые спрашивают: ”почему не все люди живут хорошо?.. Где ночует ночь?“ Директор засыпает и помнит, что завтра он должен им ответить.“

— Да, послезавтра будет поздно, или — ложью, — говорит Милан. Ох, эта КПСС! Мало того, что проиграла войну, еще продолжает играть на нервах народа, да и всего мира. Даже, если ничего ортодоксального не имеешь против нее просто всем надоела хуже горькой редьки. Взяла бы, да —и ушла бы сама на покой, на пенсию, чорт с ней, как Молотов и Маленков, хотя тех ушли...

Но и народ, конечно, в худшей, холуйской своей части, которая над каждым народом портит воздух, — тоже хорош: все еще поставляет выродков, вроде журналиста В. Журавлева. В очерке ”Берлога подпольного миллионера“ высунулся у него ежовский язык: ”Нет, не смех это вызывает, но яростное негодование. И доброе чувство к людям, которых народ и поныне любовно называет чекистами.“ Да, не смех это вызывает, если ”и поныне“, когда нигде, кроме

СССР, не убивают ловкачей и спекулянтов, как каких-нибудь убийц, будь то еврей или эллин... И, когда Рождественский, почему-то Роберт, кричит в полные легкие своего немалого таланта‘

Мы истину ищем
Жы ищем ответы.
Но сами ответы
Звучат, как вопросы.
Как мало мы знаем,
Как мало мы знали!..

—хочется сказать: мы тоже! Мы стоим на грани двух миров и не всегда знаем, что делать. Напрасно живущие только на Западе думают, что они что-то знают больше других.

Люди двух политических миров и двух психологических планов, старея на чужбине, с сердцем уходят в религию и с головой — в воспоминания о прошлой, теперь уже фантастической, потому так много и врется о ней, жизни.

Я и не заметил, что Милан давно молчит. А здесь так — стоит только замолчать — и мгновенно попадаешь, как сонная муха, в паутину тишины.

Я нигде не слыхал такой тишины, как на Афоне...

Конечно, теперь, что ни скажи — скажут: Пастернак. И кто скажет — кто о нем никогда, до Нобелевской истории, и слыхом не слыхал. А мы его с детства, как свою боль, "репетировали“, а в 1945-ом, ДП — лагерном, читали с И. Елагиным наперебой. Некоторые эмигрантские поэты, кажется, до сих пор им не перебредили.

Так, вот, Пастернак:

Тишина, гы лучше
Из всего, что слышал.

Илья Сельвинский отозвался:

Пастернака слушая,
Понимаешь смысл
Тишины, что лучше
Из всего, что слышал.

Как все, или почти все, большие поэты, Пастернак плохо читал. Но как бы обиделись на Сельвинского афонские ослики, если бы услышали эпиграмму на Шенгелая (Шенгели)‘

И шаг мой — стих, —
Сказал Шенгели,
И в самом деле —
Ишак твой стих.

...А монастырские стены все отражаются и отражаются в заливе, и где-то далеко в моей душе что-то вспоминается. Душа — если она мыслит — только картинами.

Если бы в небе все, и вся земля так отражалась, как в воде? Что бы было? Появилась бы кверхногамная живопись и забила бы абстракторов-абстронавтов.

Два деловито-застенчивых монаха прошли мимо нас, едва не задев рясами. Брови у них — как крупные черты лица, я бы даже сказал в шутку — усатые брови. Наш о. Петр пошевелил своими, прилично дикорастущими. Такие большие поэты и, конечно, грешники, не интересовали его, но мы с Миланом и витающий над нами мир продолжал привлекать его пустынное любопытство.

— А что, правда, будто все бабы нонче в штанах ходют? Помню, бывали суфражистки. Лет сорок никаких не видывал.

Объясняем, что не все, но ходят. Порхают даже. Суперсуфражистки. Теперь уже никто не борется за права жен-

щин, раз они в штанах, и хуже того, приходится бороться, особенно в Америке, за права мужчин — хоть юбки надевай. Шотландцы это предвидели.

А вот и американцы, легкие на помине.

— Странно, но нигде не видно женщин, — заметил один.

— Углубимся в страну — увидим, — обнадежил другой. И пошли дальше — углубляться.

Монах смеялся коротким, самовыталкивающимся смехом.

— Всегда спрашивают. Удивляются.

— Погодите, лет через десяток нахлынут сюда за-San-Tropez-ные. — Милан подмигивает мне, а о. Петр перехватывает, обижается.

— После нас не потоп, а Матерь Божия.

И задремал, как в знак протеста. Милан грустно улыбался.

— Я здесь не впервой. Здешний климат, по остроумнейшему выражению И. Буркина в "Нью-Йоркских ямбах", "без труда ко мне привык". Уговаривают, поддаюсь, но не окончательно. Странно как-то: из Монако — да в монахи, из града-Кутежа в град Китеж... А все монастыри исходил, и на Каруле был — это уже под самым пиком Афонским. Снизу смотришь — будто ниточки свисают, а это веревки, по ним — не по ним,но за них держатся... Но больше всех мне по душе Пантелеймон. Только боятся все, не получилось бы со мной, как с одним русским. Приехал из Америки. И читал на клиросе, и в хоре пел, как следует (я-то ничего не умею). Ну, говорят ему,поживете месяца три, а там и в монахи постригать пора. А он — что вы, говорит, я себе невесту приехал вымаливать. Мне только 60 лет...

...А то, был здесь мой знакомый по Мюнхену. Не то, что брат-писатель, а собрат-литератор. Назовем его Ив. Ты его не знаешь. На старости мы все начинаем прилично писать, особенно путевые очерки и воспоминания. И он неплохо написал об Афоне. Но, что ему дался Байрон (это

уже в итальянском очерке)? Выходит, что Пушкин, Лермонтов и добрый десяток мировых гениев ошибались, а наш Ив. прав , он умнее их всех. Так и расчленители России — конечно, только на словах и бумаге, и пока им деньги платят, — они тоже умнее всех русских гениев, не мыслящих России иначе, как великой и неделимой. Признается, что гений — на века (причем, почти все они вдруг, о чем сами и не подозревали, не русские, а украинцы или белорусы), но в политике отдавали дань своему времени, а не нашему. Словом, устарели. Вот, поговори-ка с о. Петром. Правда, он почему-то путает сепаратистов с сегрегаторами.

Монах очнулся от забытья над лагуной, и на всякий случай перекрестился. А как заперебирал четки! Что-то хрусткое и трепетное. Милан теперь говорил и для него...

Удивительно, с каких это пор он стал так спокойно говорить, с мудрым небрежением, стройностью мысли, и с настойчивостью пропагандиста.

...Как медленно тянется время! Россия — 300 лет под татарами, Греция — 460 лет туретчины. Какая общность судьбы... Никто не помог России разбить татар, а если "помогли", то по-тевтонски, Греция же освободилась только благодаря России. Современные греческие правители забыли об этом. Русское имя больше не звучит в Греции. Его вытравляют из сознанья народа. из учебников и книг. А этот — как его? — Милонакос — всё упрекает Россию за какие-то еще другие, кроме освобождения Греции, планы. Как будто великая держава не может себе позволить иметь еще другие, кроме греческих, интересы. Проливы Россия так и не получила, а Греция стала свободной... Правда, не все греки благодарны а ля Милонакос. На Афоне, как века назад, живут греки — Василии вместе с русскими Василиями — сыны великого в прошлом и великого в настоящем народов... Простим грекам вечным. Они нам дали — мы у них взяли — так много. Но преемственность, имеющая свои генетиче-

ские законы, сама по себе — явление случайное: не греки — так другие бы. И греки не упали с неба, и вместе с тем — все зародилось в нем, в том числе и земля. И ей, и жизни на ней — дана такая же относительная свобода, как и каждой отдельной человеческой личности. У земного шара не две орбиты, а три, и третья — самая таинственная и бесконечная — пусть в вечность, подвластный только одному Астроному.

Мне еще не очень надоело, но о. Петр снова задремал.

— Вот и греки, а живут бедно. Впрочем, всем первенцам древности старая культура словно мешает хорошо жить в новом мире... Но кому помешала религия? Она никому не мешает быть послушным, даже безбожным правителям, ради любви к миру, своей стране и своему народу. А теперь, слышно, опять взялись за церковь. Но попомнишь мое слово — руки коротки. Какой-то храм в Москве хотят разрушить? Даже не верится. Мешает движению? Ироды! Лучше закройте движение, чтобы оно не мешало спокойно стоять на месте такому украшению земли.

И теперешние советские писатели от религии так и не ушли. Но как долго пишутся их книги! Словно некоторые творцы земные должны незаметно для себя осваивать вековые духовные опыты, пласты и наслоения, и крупным шрифтом набирать в душе ответственнейшие слова. Дольше всех "писали", конечно, Солженицын и Ручьев — на сибирских, потрескавшихся скрижалях со стертыми заповедями. А несколько великанов, словно стыдясь своего благополучия, писали длиннейшие, рыхлые, как "Доктор Живаго", романы. У этих романов есть время, которого нет у читателя... Время... В сущности, на земле всё временно, кроме времени. Энгельс говорит, что бытие вне времени — бессмыслица, пустая абстракция. Ленин считал, что в мире есть только движущаяся во времени и пространстве материя. Хорошо. А если все эти постные постулаты заключить к какой-нибудь вакуумный сталинский застенок? Да и время времени

— рознь: 60 секунд ползут улиткой или летят стрелой, и оттого, что минута ползет или летит во времени и пространстве, а не в пустоте — ничего не меняется. Важно психологическое содержание минуты, ее эмоциональная окраска. Недаром мы говорим: счастливая минута, решительная, незабываемая. Время непобедимо, сдаемся ему мы-частицы из глаз и рук, а если без души — религии — то даже нематериальное ничто... В будущем обществе всего будет вдоволь, кроме одного — времени. Этого "продукта" никогда не будет хватать. Наши литературные предки, создавая божественные вещи, имели не только божеские условия жизни, но и само божество — Время. У современного писателя времени нет, и пишется чаще нечто кратковременное, у издателя тоже нет времени на собственное мнение, а о среднем читателе и говорить нечего. Кризис современной литературы уже наступил в Америке и в России, в Европе и Азии, но мы его не ощущаем так резко благодаря мировым запасам классики.

...Монах очнулся и весь забормотал: усы, брови, четки, складки рясы. И море с мелкой галькой — с ним в унисон.

Милан еще высказал свое отношение к капитализму на почти итальянском языке: "Капита-капито, но лизм — никогда", — и уступил о. Петру, дал побормотать:

— Киев — мать городов русских, а что Новгород — отец, об этом забывают, а никак нельзя! А то, глядишь, и его назовут украинским.

...В старой России было столько красоты и величья! Отбросить все — себя обокрасть. Отбросили, при Сталине и доигрались до самой Волги.

...Сидят на дубовом суку, и сами, идолы, его рубят.

...Сук с ними отвалится, но дуб останется.

...Соединение церквей может быстро приблизиться и никогда не настать. Я тут же вспоминаю Владимира Соловьева: "Если мировое бессмыслие — в раздоре всех, а смысл

— в единении, то при условии сохранения всех, иначе нечего будет соединять“, — и слушаю дальше:

— По счастью, наши афонские греки не читают, не читают этих разных бублицистов, вроде Милонакося, они любят нас, осликов и туристов, со всеми приветливы и радушны.

На заутрене я слыхал голос о. Петра, потрескивающий, как лучина, не очень фоногеничный — можно так сказать? — а почему нет? — но теперь он звучал мягче, проникновенней в мою душу. И наконец, он сказал то, к чему и было, очевидно,предисловием все это бормотанье:

— Благословенна страна, приютившая своих поработителей.

Слова с глубоким устремлением в прошлое и, может быть, будущее России. Да, не все монголы ушли на свой голубой Кирулен. Сколько их осталось у нас — в земле, на земле и в крови. Кто в них бросит камень? Живем одной судьбою. Остались ли турки в Греции? Мало. Будет ли мир на Кипре? Не будет, пока турки не покинут остров. Довольно они топтали греческую землю 460 лет! Кипр — такой же греческий остров, как и Крит. Греческий Афон, никто с тем не спорит, но сложившуюся веками монашескую республику нельзя прибирать к светским рукам государства, надо уважать ее законы и, хотя бы, международные постановления о ней.

После обеда Милан пошел спать к себе в комнату без вида на море, а я — на пляж. Проснулся от четочного трепетанья над ухом. Это о. Петр:

— Этак вы все царствие небесное проспите!. Пошто такой грустный? Покатаемся на осликах. Специально для вас выпросил.

Я радостно взглянул на дымчатых осликов, ослики смиренно — на меня. Мне было отчего грустить — парижские нити еще не оборвались в душе, хотя миллионы людей были бы счастливы на моем непоседливом месте. Особенно, когда

я снова сел на ослика. Этот ослиный дух всепрощения! Ни в одном из путешествий мне не было так приятно и легко, как сидя на ослике.

О. Петр не всегда бормочет, иногда ворчит: — Миланашка-то, конечно, голова, но слишком болтлив, а книжку стихов выпустил — никто не читает — сам смеется. И дождя все нет, как нет. И о. Илья изнуряет себя службами. Умрет — такого другого игумна на всем свете не сыщешь...

В зарослях постукивает бамбук — растение, по-моему, позвоночное. И камни, "каменюки", как говорит о. Петр, валуны и целые глыбы среди дороги. Ослики внимательно обходят их, но иногда спотыкаются, фыркают недовольно, вроде чертыхаются.

Рассказывая о чем-нибудь, о. Петр по-стариковски отвлекается, прыгает с темы на тему, к тому же на отборном, крупном ослике, но все равно — ноги-то почти по земле волочатся.

— Оно и я пишу, как попало, а если иногда что-то получается — не моя вина.

Голос о. Петра на возвышенности крепчает.

— А во всем виноват был беззаконный Византийский император Палеолог. Сам же обманул болгарского царя Кало-Иоанна и сам же, когда мстительное разорение от болгар пришло, призвал на помощь латинян. А те рады стараться, пошли под видом на помощь. Не по дороге на Константинополь, наводнили Афон. Подошли сначала к первенствующей нашей Лавре Св. Афанасия, и она сдалась. Приступили к Иверской Обители, но та — ни в какую. Взяли ее приступом, посадили старейших на монастырский же корабль, и утопили. А в Ватопетской обители нашли только больных старцев, но крепких духом, и видя, что не сладить с ними своими словами нехристевыми, умертвили их. А в окрестностях нашли иноков с игуменом и повесили всех на горе. Эта гора так и называется до сих пор Висельничной (Фур-

ковуни)... Долго об этих бесчинствах латинянских рассказывать можно, только о зографских мучениках надо особо...

— А что, о. Николай не рассказывал о нашем сослужении с Никодимом-то?

— Рассказывал.

— Не очень осуждал?

— Не очень. Я как-то не обратил внимания. Не присесть ли нам?

Присели над обрывом. Ослики постояли возле нас, из приличия, и отошли к деревьям.

— Так вот, значит, жил там в винограднике старец праведной жизни, всегда денно и нощно молился перед иконой Пресвятые Богородицы.

И вот, высадились богоотступные латиняне на святом Афонском берегу, около Зографа. А старец ничего не знает, молится перед Нею, говорит, как всегда: "Радуйся!" А Она ему и отвечает устами: "И ты радуйся, только беги поскорее отсюда, ибо богопротивные и заблудшие римляне напали на землю Мою". Растерялся старец, не знает, что делать, а Она ему: "Беги, не мешкай, да возвести братиям, чтобы приготовились." Пал тут старец на землю, взмолился — как же он оставит свою Заступницу. А Она ему опять говорит устами: "Обо Мне, милый, не заботься, Я без тебя знаю, что делать. И только старец в путь побежал к монастырю — подбегает, а Она уже там, опередила его, стала над монастырскими вратами и сияет. И ничего больше не говорит устами. Которые убоявшиеся монахи, или которых игумен заставил — ушли в горы с церковными сосудами, а остальные — 26 их было — заперлись в башне с игумном вместе...

О. Петр умолк, задумался и словно забыл о рассказе. Но снова дрогнул бровями.

— Ишь, ты... "Я как-то не обратил внимания"... А монахов любить надо. А тут только и ждут, когда вымрем. "А кто, — спрашивает Иоанн Лествичник, — был чудотворец

между мирянами? Кто воскрешал мертвых? Кто изгонял бесов? Никто. Все это монахов почести, которых мир вместить не может"... Да, обложили нечистые башню со всех сторон и начали с монахами пререкаться. "Мы — тоже от Бога! — кричат. Но кто же им поверит, когда они не от Бога, а от Папы Римского. Магомет сарацинский еще до них уже пустил ересь по свету. Их учение для нас было не внове, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а не только, как правильно и нужно, от Отца.

— От Отца и Сына — кричат они нам, а мы им: — А голубь на что? Забыли, ироды, про голубя с неба сходящего?

— Какой голубь? — спрашивают, а сами все ближе подступают. Мы объясняем:

— А который с неба над Сыном, что видел Иоанн Креститель своими глазами — что он, сей голубь, как не Святой Дух, от Отца исходящий? Как же может он от Сына на Сына исходить? Так долго мы с ними открыто дискутировали, и о хлебе квасном утверждали против пресного, Апполинариева сорта, и бороды наши защищали. А они, мерзкие, опять про голубя:

— Не признаем вашего голубя. А вы нашего красного петуха признаете. И зажгли нашу башню со всех сторон. И было это сожжение в 1217 году по Рождестве Христове.

О. Петр устал, побледнел, глаза горят отблесками Зографского сожжения. Но, сев на ослика, закончил:

— А потом они еще всепреподобнейшего Прота, поистязав, повесили перед Протатом.

Покончив с убийцами-латинянами, о Петр принялся за меня — кто, да что, да как, и главное, всякий раз — почему. Но вскоре и со мной было покончено, и приступили к другим, и самым неожиданным, темам. Больше всего его беспокоит, женат Милан официально или нет. Успокаиваю, что Милан боится всякой официальности, как огня. Он и пострижется как-нибудь неофициально, тупыми ножницами. По за-

бывчивости, о. Петр несколько раз повторяет, что "не оженивыйся печется о Господрем, како угодити Господеви, а оженивыйся печется о мирских".

...Сегрегаторы, сепаратисты, униаты — смутно волнуют его, как всякий грех.

— Господи, прости этих неразумных.

Я смеюсь. Среди этих "неразумных" немало господ и панов докторов. О. Петр не верит. Если бы он знал, как мало меня все это интересует. Сегрегация — не успеешь к ней привыкнуть, как выйдет из моды. И только наиболее упорные будут поздравлять друг друга: "Consegregatulation!"

Самостийников я ласкательно называю самостихийниками, а униатами пусть займется газета "Unita".

Потом мы переходим на Великую ектенью, недаром она же Совокупная: о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных.

— Прибавим "жаждущих" и "негодующих"? — будет Всеэмигрантская ектенья, все мы под ней ходим, — но о. Петр машет длинными рукавами, и четки клацают на меня. Об эмигрантах, к сожалению, ничего не сказано в Священном писании. И о. Петр не эмигрант, хотя уже трижды, каждый раз не по своей воле, переменил подданство: русское — турецкое — греческое, и все это ни к чему — у монахов одно святейшее подданство. А мне — пора покончить с легкомысленным, и только поэтически-праздничным отношением к религии.

Легко и плавно вынеслись мы на знакомое мне плоскогорье одинокого Нагорного Руссика, уже не так поразившего меня заброшенностью, и через лесной повал начали подниматься в гору. Я все оглядываюсь на свежеповаленные деревья. Чья работа?

— Отец Петр, а чей это лес?

— Наш, пантелеймоновский. Пилим понемногу, и продаем грекам, но больше для поделок-починок.

Понятно. Жить-то надо. А в самой Греции скоро живых деревьев будет меньше, чем древних колонн.

Через час мы взобрались на такой кряж, что и Нагорный Руссик показался далеко внизу. Мощный горизонт нависал выпукло и сине. Горизонт — он тоже служит свою службу в соборном храме — Святой горе. Голова кружится от видения бесконечности. Даже мерещится в голубом дыму Константинополь, этот когда-то, по Марксу, Золотой мост между Востоком и Западом. Ничего золотого в нем не было. Закрытый бассейн Черного моря с молодо-сильными, но слабыми в коммерции славянскими племенами, хребты Большого Кавказа — мало способствовали развитию "золотых" отношений с Востоком. Впрочем, здесь не до Маркса.

Старейший русский скульптор Коненков пишет, что с Пушкинского холма, где похоронен поэт, видна вся Россия. Мне она тоже видна отсюда... Суетный я человек. Я бы установил сотни прожекторов вокруг Святой горы, свет всех окрестных маяков направил бы на нее, чтобы видна была всему миру, и больше всего России, от которой мне некуда деться, и Турции и Кавказу, и виноградным холмам Абрау Дюрсо, где академик Фролов-Багреев, отец русского шампанского, когда-то лечил меня от лихорадки, где я учился пить вино и писать стихи. Рассказываю о. Петру, как в 1933 Проклятом — даже девчата, абрау-дюрчата, ходили в школу не иначе, как пьяненькие.

Бочки стояли рядами в парке около подвала столовых вин. Подсаживая друг друга, мы вскарабкивались, вытаскивали тугие деревянные пробки и сосали сладкое, некрепкое еще — через стеклянные пробирки, украденные в физическом кабинете. Учительница, молоденькая, не знала, что с нами делать. Однажды даже расплакалась, и мы отрезвели. Но директор школы, учитель рисования, физрук — никогда трезвыми не появлялись. Все и всё качалось от голода и пьянства. Но все-таки, вино как-то спасало...

О. Петр смеется своим будто самовоспроизводящимся смехом, а я уже не могу отвязаться от вызванного призрака, вижу этих бледных и раздувшихся от вина карапузов, пьяные родители грозят непослушными пальцами, и лихие шоферы возят вино в обмен на хлеб в Новороссийск, откуда груженые зерном пароходы идут в Европу... То, что теперь покупают хлеб в Америке — еще один удар по Сталину, хотя и не делает чести колхозному строю, — давно пора его заменить хотя бы совхозным, — на большее расчитывать пока не приходится, — и честно платить людям честно заработанные деньги, а не зажиливать их бессовестнее любого мироеда... Но что же получается в мире? Ничего не получается. Сталинский коммунизм напугал весь мир, в том числе и коммунистов; колхозник не может накормить хотя бы Россию, и нет надежды, а капитализм не способен хотя бы сгладить социальные противоречия, порождающие злобу, зависть и убийство с частотой одного с четвертью в минуту, и тоже нет надежды.

А надежда на мир есть. Это главное. Война за мир, кажется, объявлена!

И патриарший пик высится розовым бутоном. Кажется, еще немного напряжения души и воздуха — и он раскроется, как истина, розой Востока — Христа.

Легкие облака с завихрушками, как в папильотках кажутся лишними, и вот ветерок уже гонит их прочь.

Иду, сшибаю палкой орехи. Тут окончательно понимаешь, откуда есть пошли и начали на Руси грецкие орехи есть. Стоит ли бросать ими в Милонакоса? Но пусть знает, почем фунт печатного лиха.

О. Петр не очень меткий стрелок по орехам, к тому же — последнее время страдает запыхчивостью.

Он подает знак осликам — широкий жест тоже широким рукавом — и те смиренно подсеменяют. Для такого Полтора-Дон-Кихота, как о. Петр, ничего не стоит вобрать под себя ослика.

— О. Петр, куда дальше едем?

— Разве я не сказал? В Карею.

— Я же из Кареи приехал.

— А я думал — из Дафни. Но мне нужно туда по делу. Если не хотите — езжайте обратно. Только возьмите лучше моего ослятю. Он смирнее.

— Спасибо. Они оба смирные. И я тоже. Вот и потопаю пешечком.

— Ну, брат, как знаешь. Благослови тя Господь. Может, не свидимся боле. И смотри мне, не выдвигайся. Потихоньку живи, потихоньку. — О. Петр долго и мелко крестит меня, и сам крестится.

Иду вниз, и тень Афонского конуса спускается за мною по пятам. Оглядываюсь. Вслед за Гоголем, могу сказать: "Никогда я не видел таких монахов."

...Когда еще в жизни повторится такое: идешь час, два, три — и никого. И чем больше никого навстречу — тем больше одиночества откладывается в душе, и сгущается, как сумерки. И я вдруг вспомнил, как несколько лет назад почти физически почувствовал смерть моей матери. Из далекой России пришел толчок. Какой-то поток оборвался. Мне долго было не по себе. Потом сестра написала в Париж — всё совпало — и день, и час. Когда теперь восстановится этот поток самой сильной, материнской, молитвы? Или — уже? Ведь главный секрет веры в незаметности ее действия и могущества.

И еще одна мысль туманно беспокоит мое воображение, в уже прорезанной звездами полутьме: как свет давно умерших звезд только теперь достигает земли, — не так ли и мысли и слова гигантов древности, философов, евангелистов и Христа — все еще открываются для нас вновь и вновь — как новь. Так живут с нами Сократ, Аристотель, Гомер, Платон, Василий Великий и Николай Мирликийский, покровитель эмигрантов, шутя скажем, высокий комиссар объединенных святых.

Милан ходил по галечному берегу, ждал меня.

— Нашел: канальчик надо прорыть. Еще не то Дарий, не то Артаксеркс собирались. И отделить сию монашескую республику Афон от мира сего бездушного!

Коричневый каркас сгоревшей гостиницы, с черными рубищами окон долго не сдается ночи... Ничего, он сдастся луне.

"За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание" — Гоголь. Оставим благоухание для эмпирей, но порядок и труд все еще украшают и возвеличивают когда-то самый большой (2.000 монахов в 1910 г:) монастырь Афона. Он не может обижаться, что первенствующая Лавра не давала ему почивать спокойно. А теперь мертвым сном спят полуразрушенные мастерские, пустые склады, гостиницы...

*

Последнюю ночь на Афоне не мог уснуть.

Каждый раз, попадая в Рим, я спрашивал у древних развалин, откуда они взялись? Почему не рассыпались или не восстановились? Будто человечество, однажды проснувшись, увидело их в уже готовом, фото-рекламном виде. Так может случиться и с Афоном. Уже глядят на туристов пустые окна над хлипкими причалами, покосились колонны и кресты, горят дома и книги.

Пустеют русские монастыри, хиреют и греческие.

Мир Объединенных наций переполнен заботами об Африке и Азии, бесконечными разговорами о борьбе с нищетой, о соединении церквей, о разъединении России, о сохранении тех или иных исторических памятников. Но о Святой горе забыли. О многовековой хранительнице и сокровищнице православия, с неоцениными рукописями, реликвиями, иконами — забыли!

Для удобства туристов в подземных галлереях Колизея и катакомбах установлено центральное отопление. А монахи

Афона мерзнут сырыми зимами, купола церквей протекают, и пропадет роспись "плачущих" от сырости стен.

Это наземные катакомбы равнодушного нашего 20-го века.

Давно уже в Греции нет турок. Нет сарацинских разбойников на Крите. А славянские племена, если и осаждают Афон, то в надежде попасть туда туристами.

И Афон гибнет.

Завтра мы полетим на луну, затратим на ее сиятельство миллионы рублей и долларов. А сегодня, на наших глазах, гаснут звезды земные — роскошные даже в теперешней своей нищете монастыри Афона.

Разрушение святых афонских стен — это и разрушение, для многих, главного чувства, с которым рождаются и умирают — доверия к миру.

Как же мы можем надеяться сохранить мир на земле, если не сумеем сберечь Афон? Он, как пробный камень мира.

И уж если речь идет о международном мире, то весь Афон, с его монахами не-греками нужно отдать под опеку международной организации, а не оставлять на произвол или равнодушие полицейских шовинистов, вроде г. Милонакоса.

Иначе это хорошо не кончится. Уже глядят на нас пустыми глазницами мертвецов афонские окна и чернеют воздетые к небу развалины.

Можно по-разному относиться к мысли об Афоне, как земном жребии Божьей Матери — миф, апокриф или божественная действительность, но слова архиепископа Аверкия заставляют призадуматься: "Ведь Святой Афон... есть "земной жребий Божьей Матери", о котором Она Сама благоизволила изречь, что он будет существовать "до скончания века". Следовательно, если Святому Афону придет конец, то это — явный признак, что наступает конец века."

И к этим словам можно относиться с непочтительным недоверием или почтительным страхом. Конец мира, чуть

не с первого дня его сотворения, предсказывался без конца. Но когда-то же он наступит — апокалиптически неизбежный.

Самый странный и страшный вопрос — могут ли люди — святые и церковные иерархи — стараться отсрочить конец мира, нужно ли это, можно ли это, имеют ли они на это право?

Очевидно, да, чтобы мир еще при его жизни, не слишком захлестывало злобой, ненавистью, беспрерывными войнами. А если так, не пора ли соборно-общечеловечно подумать о малых сих — о неудачниках, лентяях, преступниках — они тоже люди, а наше, так называемое, христианское общество спокойно позволяет им скатываться вниз и скотеть, и при этом усиленно кричит о свободе.

Это же, так называемое, общество равнодушно смотрит, если вообще смотрит, как в нищете и развалинах тонет русский, а с ним и греческий, Афон — первый и последний на земле оплот православия, строгих обрядов и абсолютной и поэтической религиозной чистоты.

А, казалось бы, скорбь и упадок Афона, его беззащитность и сама молитвенная тишина — могут тронуть любое, даже самое подошвенное сердце...

На прощанье игумен о. Илия подарил мне несколько икон старинного тиснения на полотне и шелку.

— Они очень, очень старые... Раздайте там, в Америке, своим знакомым и друзьям. Все освященные.

(Это было сделано).

Милан и о. Серафим провожают меня на пристань. Я никогда в жизни не носил при себе икон. А тут — целая дюжина. Милан, довольный, улыбается.

— Это тебе не какие-нибудь всуевениры. Прячь подальше за пазуху. Осторожнее. Здесь из каждой русской мухи могут сделать коммунистического слона.

О. Серафим строго прерывает Милана и одним взмахом широкого рукава отделяет меня от него. Но не так просто разделить нас с Миланом.

И без того жандарм с прикрученными усами что-то слишком внимательно смотрит на меня, словно подозревает, что я задумал похищение Афона. Да я бы не прочь...

Откуда-то взялись греческие пехотинцы. Испуганно прижимаю иконы к груди. Боже, из-за чего только не может возникнуть конфликт. Ни за что бы не отдал иконок. Так и с мировой войной. Из-за чего только не... Но теперь есть надежда: даже вспыхнув, может погаснуть. Солдаты одеты в американскую форму, но рубахи выглажены не вдоль, а поперек.

Каждый по-своему может понимать язык этих складок. Для меня он прост и ясен. Я вижу насквозь и эти складки, и все шовинистические швы: "да, мы носим вашу форму, но не забывайте, что мы — греки. Мы вам дали то-то и того-то, а вы нам — только форму. Содержание важнее."

Несколько черных лодок сгрудилось у свай — как нищие дельфины. Что-то разбухшее белеет среди отвратительных медуз. Это книга Милонакоса — вверх обложкой, как дохлая рыба.

Напоследок обмениваемся с Миланом поговорками:

— Мил гость, что недолго гостит.

— Гость немного гостит, да много видит.

— Что ты, Миланашка!.. Что я видел? Больше почувствовал. А вообще — везде хочется побывать, но я говорю себе: не жадничай!

И слышу: "Не выдвигайся!" — потому что одно с другим связано, как звенья одной обуздывающей цепи.

Трое монахов-греков о чем-то оживленно заговорили, заспорили и перешли на восторженные восклицания. Милан переводит:

— Это они об архиепископе Чилийском Леонтии. Он в прошлом году прилетел в Афины и тайно хиротонисал сразу несколько греческих священников — старостильников. На Афон его не пустили, так он нанял лодку и обплыл все побережье.

— А почему же его не пустили!?

— Потому что тайно хиротонисал — как это? — во епископы. Событие было большое для православной Греции.

— А почему тайно?

— Идет борьба между правительством, вводящим новый стиль, и старостильниками. И до тюрьмы доходило.

Так. Знакомо. А об архиепископе Леонтии я много слыхал задолго до знакомства с ним. Он новый эмигрант, как все еще принято "выражаться". В Киеве уцелевал благодаря святому старцу схи-архиепископу Антонию, а святой старец благополучно молился до конца благодаря Сталину, которого на заре его мятежной юности учил в семинарии.

...Вот и ослики пришли встречать ботик по расписанию, и подошла все та же "Ксения", и капитан, он же механик, величественно выпятил на нас живот. Веснушки разбежались по всему его заросшему лицу, как божьи коровки по траве.

Прощай, Святой Пантелеймон-монастырь! Как в некоей стране доставалось и еще достается пароходам и человекам, так и тебе здесь приходится плохо. Но ты свободен — молиться, пасть на колени или рухнуть совсем... Ни один монастырь в мире не сравнится с тобой, с твоей двойной, отображенной в воде красотой. А для меня в тебе — особый смысл — виденье далекого детства: вот оно выходит из воды и становится на берегу моей души. И душа моя зажмурилась и видит лебединые шеи колонн, колоколенную осанку другого монастыря... И лебеди расцветают возле них, как белые лилии. Правда, это лебеди моего воображения, я их не видел, но когда-то они были — плавали в водах — лиманах Нового Афона.

И вижу не родной — скорее смертный мой город над Невой, выходящий из огненного и ледяного кольца немецкой блокады.

И вижу всю гигантски многострадальную страну, в которую, как в Бога, можно только верить. Но где этой веры взять?

О. Серафим целует и крестит меня, как будто мы сто лет знакомы, Милан в замешательстве даже не пожимает руки; "Ксения" обдает всю пристань мазутным дыханием, и вся искрещенная монахами, отчаливает, а Милан вдруг сразбегу прыгает на борт.

Увязался со мной до Трипети этот антик-коммунист и антикоммунист вместе. Капитан без отрыва от руля хлопает его по костлявому плечу. Значит, не возьмет ни драхмы.

Нет, не получится из Милана монаха: через час он уже кричит на всю "Ксюшу":

— Смотри-ка! Бабы-женщины!

И правда, на белый песок близкого пустынного берега выходят из пены чистые и плотные, как Афродиты, молодые гречанки.

Но монах-грек рядом со мной, не обращая на них никакого внимания, упрямо повторяет, кивая на уже отдалившуюся пустынную арсану обители Игнатия Богоносца:

— Нет человека! Нет человека!..

А надо всем видимым миром сквозит в вечном горнем подъеме к вечности беломраморный, как ледник, пик Святой горы. А под ним, на узкой миражевой полоске, между небом и землей — вижу стоят три последних русских игумна: архимандриты Михаил, Илья и Николай.

Трое вас, только трое вас... Помилуйте нас.

Прощай, Афон! Прощай, берег "Нет человека"!

Конец

Сиракузы, апрель 1964.

Анатолий Даров

Цена $2.50

Издание газеты
"Россия"
216 West 18th Street
New York, N. Y. 10012